

Вятлаг

Прибываем

Мы не знали, куда нас везут. По Ярославской дороге ближайшим лагерем был Вятлаг, но этим же направлением можно было попасть и в уральские лагеря, и в сибирские, включая Норильск, страшный Салехард на «стройку 500», и на строительство БАМ, и дальше, до Колымы включительно. Однако вскоре после Кирова (услышали это название в разговоре конвоиров) мы отвернули налево, на север: это значило – ст. Яр-Фосфоритная, за ней Вятлаг. Этот лагерь имел, как мы об этом знали, собственную ветку длиной, в то время, свыше 100 километров, направленную строго на север, в гущу вятских лесов. По ней и направился наш состав.

Первый лагпункт

Ранним утром нас стали выгружать из состава. Деревянная станционная будка, за ней большой, покрытый травой плац. После вагона кружится голова от свежего лесного воздуха, шатает. Многие не могут идти, им помогают попутчики. Нас усаживают рядами на траве. По три сторона плаца уже начинающий желтеть лиственный лес, в котором исчезает вдаль однокорейный рельсовый путь. Замыкается этот плац торцевой стороной лагпункта, с великолепными высокими воротами, украшенными богатой резьбой по дереву, и огромной, тоже резной, надписью по верху: «Добро пожаловать». Позже мы узнали, что красивое оформление ворот – предмет заботы каждого начальника лагпункта, выискивающего дня этой цели умельцев из заключенных.

Лагпункт, куда мы прибыли, назывался – первый, или комендантский лагерный пункт. Здесь производилась приемка, сортировка и распределение по лагерю прибывающих этапов, отсюда отправлялись выбывающие из лагеря зеки, но также выполнялась и обычная лагерная работа» в основном лесозаготовки» обслуживание лесобирж и др.

Сидим, ждем. Греемся на августовском солнце, дышим бесподобным летним воздухом, и всем кажется, что худшее уже позади.

Приемка этапа

Из проходной у ворот показывается группа военных, впереди двое – высокий и маленький. Высокий – это капитан Портянов, начальник первого лагпункта. Угрюмая личность, но в дальнейшем оказавшийся сравнительно неплохим человеком, точное – не специально вредным. А другой – коротышка, чудовищно толстый, астматический еврей, с одним кубиком на петлицах. Младший лейтенант НКВД, начальник Вятлага, Ной Соломонович Левинсон. Отвисшая нижняя губа, надменное и глупое лицо, цедит слова. Иногда останавливаются около кого-нибудь, спрашивают – «фамилия? статья? срок». Слышим, как некоторым бытовикам говорит Левинсон – «пойдете на свободу, в армию». Попутно надо сказать, что в дальнейшем действительно были случаи досрочного освобождения бытовиков о легкими статьями, отправки их в армию, но это были единицы, и каждый раз в результате какого-то влиятельного ходатайства.

Подходят начальники, наконец, и к Сапеге, сидевшему недалеко от меня, в компании какого-то польского офицера, явно высокого звания, сохранившего еще четырехугольную фуражку-конфедератку и шикарную зеленую шинель. Слышно отрывки слов Левинсона – «нападать на советскую родину...поплатились...». Сапегу невозмутим, офицер, видно, смертельно напуган.

Нарядчики

Начальники скоро ушли. Похоже, только на Сапегу посмотреть и приходили. Появилась другая группа – старший этапного конвоя, командир охраны лагпункта, начальник УРЧ – учетно-распределительной части, аналог отдела кадров «на воле» и несколько хорошо одетых заключенных; это – нарядчики. Среда них старший нарядчик первого лагпункта, Пичхая по фамилии. Тощий, высокий грузин с усиками, бывший абхазский нарком, сидевший с 1937 г. Как оказалось, Сталин ничуть не жаловал своих соплеменников и пересажал у них и руководящие кадры, и интеллигенцию, аристократию и духовенство, в процентном отношении, гораздо больше, чем в России. Это можно было видеть и по относительно большому количеству грузин в Вятлаге и в других местах заключения. С Пичхая я потом познакомился ближе и с удивлением обнаружил, что он – ярый сталинист, и при этом вполне искренний, В 1942 г. Пичхая умер от нажитого в лагере туберкулеза.

Был вынесен стол» на него водружена большая кипа личных дел, и началась приемка-сдача этапа. Нарядчики вызывали новоприбывших по списку, каждой должен был назвать имя-отчество, год рождения, статью и срок, после чего дело откладывалось в другую кипу, делалась отметка в списке, а новоиспеченный лагерник отсылался в толпу уже оформленных зеков.

Мы подошли к столу той же группой, что и ехали. И тут произошел совсем незначительный эпизод. У стола стоял Пичхая и другой нарядчик. И когда перед мной подошел к столу и назвал себя Разовский, мне показалось, что они, будто бы, бегло переглянулись. И больше ничего.

Чтобы к этому не возвращаться: Разовский, оказывается, являлся вовсе не рядовым сотрудником прокуратуры, как он нам дал понять во время этапа. Был он там важным лицом; и фамилия его была хорошо известно, так как его подпись стояла под многочисленными приговорами у бытовиков. Нарядчики его засекли. В первые же дни после прибытия он был отправлен на дальнюю лесную подкомандировку (филиал лагерного пункта), где содержали самую отпетую шпану. Все точки лагеря были связаны телефонами, все нарядчики знали друг друга, и на подкомандировку было тихо сообщено, кто такой Разовский. Для шпаны прокурор – предмет сильнейшей ненависти, и меньше чем через месяц Разовского не было в живых: шпана с ним расправилась. Все было сделано чисто и без шума.

Для меня это был первый пример огромного значения нарядчиков в лагере. На эту работу подбираются обычно бытовики, т.е. не политические; Пичхая был редким исключением; и от нарядчика требуется огромная ловкость, умение лавировать между лагерной администрацией и заключенными и иметь авторитет у тех и у других. В функции нарядчика входит комплектование бригад, обеспечение их выхода на работу, бытовое устройство зеков, и администрация лагеря обычно полностью передоверяет им рутинные лагерные дела. Жаловаться на нарядчиков – дело бесполезное, да и небезопасное. Нарядчик всегда может угробить или, наоборот, выручить зека, и конечно широко этим пользуется в своих интересах. Живут нарядчики в отдельном бараке, их старшой обычно имеет отдельную комнату, «кабину», питаются и одеваются они лучше остальных лагерников, пользуются мелкими поблажками, сильно облегчавшими лагерную жизнь, напр. без очереди в баню, вход на кухню с задней стороны и т.п. А Пичхая использовал свои возможности для устройства грузин. Никто из них не был ни на лесоповале, ни на земляных или дорожных работах. Всем нашлось дело в зоне, под крышей. В теплые вечера они собирались за отдаленным бараком и пели свои удивительные многоголосные песни.

В зоне

Зоной называлась территория лагпункта. Туда нас отвели наряжники после приемки этапа (в проходной нас снова пересчитали) и распределили по баракам.

Все лагпункты Вятлага были построены одинаково. Сколько знаю по рассказам такая же планировка зон была принята и во всех прочих лагерях НКВД. Размеры участков бывали разные; 1-й ОЛП (отдельный лагерный пункт) имел, примерно, 80х200 метров. Зона была огорожена тремя рядами колючей проволоки, внутренний ряд был пониже человеческого роста, средний метра полтора, наружный метра два – два с половиной. Вышки для часовых стояли по углам зоны, и еще по две или три вышки, точно не помню, по длинным сторонам прямоугольника. Ход на вышки был устроен вне зоны, ночью вокруг зоны патрулировали собачники с овчарками – «бобиками» по лагерному. Большие участки лагеря, охватывающие несколько лагпунктов, окружались патрульной тропой. Не помню, как по ней велось патрулирование летом, я зимой это была кольцевая лыжня, по которой периодически обходили участок лыжные патрули, здоровые, тренированные молодцы, тоже с бобиками.

Теперь попытаюсь изобразить примерный план зоны, как его припоминаю:

Во всю длину лагпункта шла бревенчатая дорога шириной около 4 метров. По ее сторонам были проложены тротуары из досчатых съемных щитов, уложенных над вонючими, кишевшими крысами сточными канавами. У входа в лагпункт располагались два больших служебных барака. В них помещались: кабинеты начальника и оперуполномоченного, УРЧ, АХЧ (административно-хозяйственная часть), КВЧ (культурно-воспитательная часть), диспетчерская, комната наряжников. Дальше шли жилые бараки. В конце зоны стояла кухня с раздаточной, баня с прожаркой, склад и санчасть, состоявшая из кабинета врача и стационара на несколько коек. Сзади барачных стояли длинные многоместные уборные. Существовало, кстати, правило – как ходить в уборную ночью. Летом это разрешалось только в нижнем белье, зимой обязательно в верхней одежде. Дело, конечно, было не в заботе о здоровье зеков, я просто чтобы часовой на вышке мог лучше различить человека. Если выйти в неподобающем по сезону виде, то часовой мог и выстрелить, и так бывало.

Все постройки были бревенчатыми, под драночными крышами, с минимальным использованием железа, перед войной бывшего в крайнем дефиците. Каждый барак, да и вообще каждое строение в зоне, имели только один вход. Все постройки были соединены деревянными мостками.

На территории зоны всегда стояли густая вонь от сточных канав, куда все норовили мочиться ночью, чтобы не тащиться до уборной, да и от самих уборных, очень редко очищавшихся. Бараки были ободранные, жалкого вида, впрочем в зоне всегда было чисто, подметено, возле барачных клумбочки резеды, которую высаживали на всех лагпунктах. А на нашем первом лагпункте даже держали старичка художника. Весь год его так сляк подкармливали, я в октябре-ноябре перед каждым барачком сколачивался, по его указаниям, каркас, и он сооружал ледяные скульптуры. И даже довольно искусно. В течение 5-6 месяцев красовались лебеди, слоны, медведи и тому подобное. Дневальным полагалось сметать с них снег.

Жилой барак

Наружная дверь барака вела в тамбур, из которого был ход в жилое помещение. Посередине барака стоял длинный стол со скамьями по сторонам, а вдоль стен стояли в два ряда «вагонки», разборные двухэтажные четырехместные нары стандартного для всего СССР образца, грязные и кишевшие клопами. Ближе к дверям стояла большая кирпичная печь. Иногда в больших бараках ставилась посередине, на песочном основании, перевернута узкоколейная вагонетка-хоппер, с прорезанной в торцевой стенке топочной дверцей. В холодное время года печи непрерывно топились дневальными, которых

подбирали из стариков и инвалидов, и в бараках всегда было жарко, хоть и тянуло холодом из щелей плохо проконопаченных стен.

В большие морозы углы промерзали насквозь и были украшены фестономы инея, воздух в бараках всегда был спертый, воняло грязными портянками, прожаренной одеждой, самосадом. Но вонь эта была, в общем, мелочью, и привыкнуть к ней было легко.

Выдали на матрасные мешки из плотной черной ткани, и при этом завели на каждого учетную карточку, куда записывались получаемые лагерные вещи. Показали нам, где свалена стружка для набивки матрасов, и стали мы устраиваться. Постельного белья и подушек в лагере не полагалось, при удаче можно было получить на складе изношенное байковое одеяло, но обычно каждый укрывался своим ватным бушлатом, и спали мы почти или вовсе не раздеваясь. И к этому тоже, оказывается, нетрудно было привыкнуть, тем более после тюрьмы. Не очень и клопы мешали спать, может потому, что воспринимались как норма. В зимние вечера, после работы, в бараках царило благодущие – ведь как-никак еще один день уже позади – и даже как бы уют.

Питание

Самое главное, хлеб («горбушка»), выдавался с вечера на следующий день. Минимальная норма была, сколько помню, 450 гр., и ее получали дневальные, инвалиды и другие неработающие зеки в зоне, кажется также и больные в стационаре. На тяжелых работах эта норма доходила до 900 гр. Хлеб всегда был плохой, водянистый до такого предела, что добавить еще каплю – и его нельзя б выпекать. Мука была с всевозможными примесями – овес, ячмень, а как-то и гречневую муку добавляли, и хлеб получался голубым. Но во всех случаях был он малопитательным. Горячая пища полагалась трижды в день, и была она исключительно крупной или мучной. Крупа шла самых дешевых сортов, мусорного качества. Заправлялась пища, еле заметно, растительным маслом, притом не всегда. Эту примесь мы определяли по запаху, если она была, так как масло, подсолнечное или хлопковое, прибывало в лагерь в цистернах, плохо отмытых от нефтепродуктов. Изредка добавлялись в баланду полугнилые соленые помидоры, капуста. Иногда давали вареный турнепс. Рыба или мясо попадались в пище как редкое исключение, и каждый раз являлись событием.

Вкус пищи всегда был скверным, но он совершенно не играл роли и не замечался. Еда ценилась только по густоте и количеству.

Надо сказать, что в августе, сентябре и, пожалуй, части октября 1941г. питание было, в общем, почти достаточным. Конечно – недоедали, но «доходяг» было пока мало, голодных смертей еще не замечалось.

Необходимо было иметь собственный котелок, а лучше – два, для баланды и для каши, собственную ложку. Котелки всегда можно было добыть, за пайку или две хлеба, их делили лагерные жестянщики. Деревянную ложку давали в столовой; так назывались несколько столов со скамейками на улице около кухни.

На питание выдавал бригадир талоны на весь день, такого образца, как трамвайные билеты, и так же с текущими пятизначными номерами. Талоны на завтрак, обед и ужин различались цветом. Для разных добавок, определявших уровень питания, зависевший от выработки за предыдущий день и категории труда – это были дополнительные порции каши или лепешки – тоже выдавались талоны своего особого цвета, около столовой действовал черный рынок, на котором всегда можно было купить или на что-нибудь выменять талон на еду. Торговля шла и одеждой, бельем, обувью, а также маслом и сахаром из больницы.

Осенью произошел в зоне случай, показательный для неисчерпаемой арестантской изворотливости. Повара стали замечать, что на кухню поступает талонов вроде больше,

чем выдается зекам. Сверили – действительно больше! Занялись этим ЧП: вроде все в порядке, талоны как талоны, я главное – правильные серии номеров. Понадобилась дотошная проверка, чтобы установить; часть талонов фальшивка, но сделанная очень искусно. Полной загадкой осталось, как фармазнам удавалось узнать с вечера номера талонов на следующий день. И где они могли их делать, ведь в лагере всё на виду.

И где добывалась бумага, краска, штампы. Когда начался шум, фальшивые талоны исчезли, исполнителей так и не обнаружили. Я видел такие талоны, и мог убедиться, что на первый взгляд они нисколько не отличались от настоящих.

Осматриваемся в зоне

Первые два-три дня новоприбывших не впрягали в лагерную лямку. Выгоняли иногда на случайную работу, что-нибудь перенести, убрать. Князя Сапегу, с первого же дня, с явным намерением унизить, включили в бригаду стариков уборщиков и поставили на самую грязную работу, чистить сточные канавы под тротуарами, вонючие и кишевшие лагерными крысами. У тех крыс на хребте шерсть была всегда стерта до розовой кожи, вероятно от постоянного пролезания в узкие щели. Запомнился Сапега, когда шел с бригадой на работу, выбрасывая вперед негнушующую ногу, с метлой на плече на манер винтовки, со стянутым от обиды лицом. У нас было время походить по зоне, осмотреться. Привлекла внимание доска приказов, в которой попадались новые для нас лагерные слова. Напр. заключенный назывался з/к, а множественное число – з/к з/к, вольнонаемные – это в/н. Объявлялись там взыскания за «промот», т.-е. продажу лагерных вещей; одежды, обуви. Наказанием был ШИЗО, штрафной изолятор, он же карцер, он же, по блатному, кандей, до 10 суток. По закону больше не полагалось, но держали и по 20, и по 30 суток, с перерывами на час-два между десятидневками.

В первые же часы многие из новоприбывших были обворованы. Жулье, всегда точно учитывающее обстановку, воспользовалось их растерянностью. Но выяснилось, что есть склад личных вещей, и туда можно сдать на хранение одежду и продукты.

На нашем лагпункте содержались и женщины, в количестве, вероятно, 10-15% всего состава. В большинстве это были бытовички – воровки, проститутки, растратчицы из торговой сети. Многие женщины отбывали один год за опоздание на работу. Политических среди наших женщин было меньшинство, жили женщины в отдельном бараке, куда мужчинам ход был воспрещен, и для порядка в тамбуре дежурил старичок дневальный. Впрочем большой строгости в этом не было.

Женщины с политическими статьями чаще направлялись в специальные женские лагеря, напр. Петропавловский в Казахстане, где женщины работали на ручных вышивках для экспорта. Рассказывали, что для женщин, членов семей крупных лиц, получивших срок как ЧСИР, существовали особо скверные лагеря. Из рассказов складывалось также впечатление, что женщинам в заключении было гораздо труднее обходиться без мужского общества, чем мужчинам – без женского. Это подтверждали все без исключения женщины, побывавшие как в общих, так и в женских лагерях.

Сожительство в лагерях в тот период формально запрещалось, но если оно осуществлялось тихо, то на это смотрели сквозь пальцы. В Вятлаге, так же как и в остальных лагерях, имелась специальная подкомандировка для забеременевших, было там и родильное отделение, ясли, детсад. Работы для матерей подбирались облегченные – полевые, огородные, и условия были, в целом, терпимые. И чтобы туда попасть многие женщины наши стремились забеременеть. Но получалось это не часто. Врачи объясняли: вследствие тяжелой работы, плохой пищи, состояния духа.

Состав з/к з/к в Вятлаге

Политических было, среди мужчин, примерно 3/4. Почти все имели сроки 5, 8 или 10 лет по ОСО, подавляющее большинство с формулировками АСА или КРА. Зеки с более тяжелыми формулировками или статьями отправлялись больше на север или Дальний восток. Специальных лагерей с усиленным режимом тогда, в начале войны, еще кажется не существовало, но были «тяжелые», как Колыма, и «менее тяжелые», как напр. наш Вятлаг, в которые не привозили «диверсантов», «террористов», «изменников родины» и т.п.

Политические считались такими же уголовниками как и бытовики, т.-е. все осужденные по всей гамме статей уголовного кодекса, кроме ст. 58. Разница состояла в том, что политических не полагалось допускать к административной и материально ответственной работе. Но это никогда не соблюдалось, так как среди бытовиков было мало людей образованных, да и попросту грамотных, и умеющих работать.

Лагерный оперотдел иногда предпринимал «чистку», и политических снимали с должностей нормировщиков, диспетчеров, кладовщиков и т. п. и направляли на общие работы. Но через несколько дней их обычно возвращали.

Политические и бытовики представляли собой две группы в лагере, и каждая жила своей особой жизнью.

Уголовники

У жулья царил пресловутый блатной «закон», в котором, причем, «стояли» далеко не все. Молодым вора, мелким "съявкам" в закон ходу не было, это требовалось заслужить, существовало и подобие «кодекса чести» в этом-законе, но относился он, в основном, к азартным играм. Проигравшийся выше своих возможностей обязан был выполнить любое требование выигравшего. При мне не раз проигрывали и убивали бригадиров, десятников и тому подобных мелких начальников из зеков. К нарядчикам, а тем более к вольнонаемным, охране, лагерной администрации шпана очень редко совалась. Она знала, что здесь на отделаться простой добавкой срока, как это происходило при обычных лагерных убийствах, а будет обеспечен расстрел убийцы. А до этого и у него, и у всех причастных к такому делу «отнимут полжизни» зверскими избиениями.

Чтобы «стоять в законе» надо также было, уметь свободно «ботать на фене», т.-е. объясняться блатным языком. «Феня» и различные блатные ухватки – как стоять, повернуться, сказать, как вести себя в том или ином случае, даже и интонации в разговоре, постоянно отрабатывались каждым молодым блатным (или «цветным»).

Все это – язык, ухватки – служило, как мне кажется, для того, чтобы самоутвердиться, придать себе какую-то особенность и значимость, и было на умственном уровне, примерно третьего или четвертого класса школы. Пожалуй каждый может вспомнить о себе, как в этом возрасте изобретались всякие секретные словечки, как в каждой миленькой компании придумывались свои правила поведения.

Что до самой шпаны; в своей массе были это серые люди, часто полуграмотные, попадались и совсем неграмотные. Нередко встречались среди них типы истеричные и умственно отсталые, бывали и вовсе полудиоты. «На воле» приходилось слышать разговоры о блатной этике, а то и рыцарстве, напр. о неприкосновенности хлебной пайки, недопустимости обижать малолетних, старых, больных. Ничего подобного у жулья нет. Тупая жестокость, бесчестность, мораль – «подыхай сегодня ты, а завтра я» – вот главные черты жулья.

В заключении видны наивность и безграмотность классовых теорий о социальных корнях преступности. Добро бы вор крал с голоду, но ведь у профессионала это страсть, такая же непреодолимая как наркотик или азартная игра. Он не может без этого жить, и воруется или отнимает и в тюремной камере, и тогда, когда а выгоды никакой не получает;

зубной протез или очки у старика, книгу у читающего сокамерника; потом выбросит или сломает.

В «перевоспитание» жулья а никогда не верил, так же как и все в лагерях, с кем приходилось об этом говорить. Правда, знал я случаи, когда блатные "завязывали", но были это единицы, да и надолго ли? Пришлось мне встретить в лагерях и двух воров, перевоспитанных самим Макаренко; о них после.

Отношения между блатными и политическими были, в общем, безразличными. Работали, ели и спали вместе, в голод одинаково доходили – и всё. Стычки бывали, но редко. Незадолго до нашего приезда на лагпункте произошла такая история: шпана «захватила власть» в зоне. При полном попустительстве охраны жулье начало грабить политических, отбирало на кухне лучшие продукты и заставляло готовить для себя отдельно, избивало кого хотело. Но внезапно разразился «бунт» политических, похватили они кто полено, кто доску, и кинулись лупить шпану, опять таки при полном невмешательстве охраны. Блатные прятаться, но их отовсюду вытаскивали и безжалостно избивали. Это тянулось целый день. Убит никто не был, но санчасть переполнилась жульем с переломами и ушибами. На другой день – будто ничего и не было, жулье не в обиде когда бьют, норма их жизни.

А в общем со шпаной в лагере можно было жить – при условии, что ты им не мешаешь, ничем не опасен, или что у тебя не имеется ничего для них соблазнительного, или есть повод за что-то тебя уважать. У жулья очень ценится возможность посмеяться, развлечься, послушать разные истории («романы»), приключенческие или сентиментальные. Рассказчик в камере или на этапе у них всегда первый человек, в дальнейшем побывал в этой роли и я.

Что они не терпят – это высокомерия, пренебрежения или насмешки по отношению к себе, и если это у кого-нибудь учуют, то такому позавидовать нельзя.

Часто встречаются среди них отличные плясуны, исполнители блатных песен.

Культ матери (наколка «не забуду мать родную»), на деле же обычно полное пренебрежение к близким.

Исправляет ли лагерь вора? – наоборот; здесь он проходит шлифовку. Сколько встречалось молодых, с малым сроком за какие-нибудь пустяки, год или два. Приходит теленком, выходит – цветным. Боятся ли жулье заключения? Не особенно. Конечно, сидеть тошно, зато – общество. И каждый уверен, что другой раз не попадетя. Недостаток воображения – это тоже одна из особенностей жулика.

Но хватит о шпане, о ней и так много писалось и говорилось. Вот только о моих с жульем отношениях; никакой обиды мне от них, даже малейшей, ни разу не было. А старался вести себя о ними по хорошему. Но было в этом и везение, которое вообще часто сопутствовало мне в заключении.

Попадаю в мастерские

Через несколько дней после приезда начали распределять нас по бригадам. Толпились мы в нарядной, куда нас вызвали, и случилось мне разговориться с начальником вновь создаваемой ремонтно-механической мастерской, зеком-бытовиком инженером Орловым. Он расспросил меня и без проволочек зачислил к себе конструктором.

В тот момент я, конечно, не имел еще понятия, что это – колоссальное везение, что благодаря этому я выживу, что оно определит мою дальнейшую лагерную жизнь. Спустя несколько дней прибыл ленинградский этап, в котором оказалось большое количество крупных специалистов, в том числе конструкторов, с лучших заводов. Многим из них я и в подметки не годился. Мест для них уже не нашлось, большинство попало на лесоповал, и лишь немногие пережили голодную зиму 1941–42 гг.

Из приехавших со мной попал в мастерские Панин, тоже конструктором. Сучкова направили в близлежащий совхоз лагеря, и он там проявил свой незаурядный талант устраиваться; стал нормировщиком, расконвоировался в первые же дни (т.-е. получил пропуск на свободный выход из зоны) и часто бывал у нас в мастерских.

Эти мастерские оказались большим бревенчатым сараем, с огороженным колючей проволокой двором. Располагались они, примерно, в километре от лагпункта. Хозяйство наше состояло из трех или четырех токарных станков, двух сверлилок, приводной ножовки, плюс десятка два тисков для слесарей, маленькой кузницы, электросварки. Подобрал Орлов очень квалифицированных рабочих, и занимались мы ремонтом чего угодно – тракторов, автомобилей, швейных машин для портновской, а как-то пришлось ремонтировать и зубоветеринарную бормашину, и наручники из карцерного инвентаря.

Кого помню по мастерским

Из рабочих вспоминаю Ротштейна, с которым проработал в лагере 2 года и затем оказался по соседству в ссылке. Киевлянин, красивый парень, потомственный рабочий. В Киеве Зелик работал механиком на табачной фабрике, был комсомольским деятелем. В мастерских у нас его уважали за квалификацию, солидность, добродушие.

Женат он был на украинке, и в 1955 году я познакомился с его семьей во Львове, куда он подался после ссылки; об этом, может, потом.

Запомнились рассказы Зелика о Колыме, где он успел побывать до Вятлага, о работе в карьере при -65° , об издевательствах охраны в колымских лагерях.

Помню из рабочих еще Кондрата (какая фамилия), украинца, слесаря-механика высшего класса. Его иногда возили, под охраной, в район, ремонтировать сейфы. Тоже вот был в высшей степени солидный человек, образец исполненного собственного достоинства рабочего аристократа. Почему именно об этой черте вспоминаю; увы, и Кондрат и Ротштейн оказались попросту дерьмом, когда дошло до лагерного дела.

Был у нас также слесарь Лисицкий, тоже украинец. Крупный, как платяной шкаф, с огромными ручными, которыми он умудрялся чинить часы, приборы и делить любую ювелирно тонкую работу. Мрачный и неразговорчивый человек, но прекрасный товарищ, милый человек, который отлично повел себя в трудное время. Мы с ним очень подружились.

Слесарем работал и Адольф Дик, очень типичный украинский немец, худой и носатый, с грустными глазами. Выпускник бронетанковой академии, кандидат технических наук, он обладал первоклассной инженерной и военной подготовкой, имел изобретения по танкостроению. Как немца его у нас долго не допускали до инженерной работы. Правда, в дальнейшем он все же стал техноруком мастерских. Мы с ним были дружны, часто и о многом говорили. Помню его очень осторожные высказывания о фронтовых делах, которые обычно оправдывались.

Болгарин Дончо Калайджиев был у нас заточником. Маленький, черный как жук, всегда веселый. В прошлом активный член нелегальной болгарской компартии, имевший отношение к знаменитому покушению на царя Бориса в 30-х годах, выполненному с поистине балканским остервенением. По рассказу Дончо произошло это так: чтобы выманить царя из окружения строжайшей охраны был убит некий генерал, не то чтобы особенно вредный, но заслуженный. Как и было рассчитано царь явился на его отпевание в собор, и тут был взорван заранее заминированный купол. Погибло, по словам Дончо, более 90 присутствовавших, но не стоявший в стороне царь. Дончо был заочно приговорен к 100, кажется, годам каторги плюс 300 тысяч левов штрафа – как он шутил, на ремонт собора. Ему удалось уйти в горы и добраться затем до СССР, до 1937 г. он жил в Москве, чем занимался – умалчивал.

Любопытно, что после многих лет в России он, из рук вон плохо говорил по-русски. Этим же отличались, почти без исключения, жившие в СССР политэмигранты, которых а много встречал в лагерях.

Большинству их было свойственно и скрытое или явное пренебрежение к нашей стране и народу, и к нашим порядкам.

Еще был в мастерских жестянщик, Василий Лукич Панюшкин. Запущенный, немыслимо грязный, очень сломленный заключением. Было ему около 60 лет. В молодости рабочий-лудильщик и известный подпольщик-большевик. Не раз сидел, бегал из ссылки. В 1900-х годах он был связным у Ленина, у большевистской эмиграции в Швейцарии. Много раз нелегально переходил границу, неоднократно выполнял личные поручения Ленина. Сколько помню в первые послереволюционные годы был он комиссаром автороты Кремля, затем стал директором совхоза, и с этой должности его и забрали в 1937 г. Образования он так и не получил. Очень это был прибитый человек, и разбирала его болезненная болтливость. Приходил он к нам, в комнатку ИТР, и переступая с ноги на ногу, с жилкой улыбкой, часами что-то плел, и о детстве, и о какой-то пасеке в деревне, и о родне... С трудом можно было это переносить, но мы его не гнали, у нас ведь было тепло. Слушали вполуха. А иногда проскальзывали у него и любопытные вещи. Как например оказалось припомнил он и мою мать, она была в эмиграции в Женеве в 1907–08 г., вспомнил и ее партийную кличку – «Мушка». Свою кличку, «Сам», он тоже не забыл, и просил напомнить матери, если ее увижу. Так и не выполнил я его просьбу. А умер он зимой 1943–44 гг. в следственном изоляторе лагеря.

Кабина ИТР

В лагере кабиной называлось всякое отдельное маленькое помещение, рабочее или жилое. Кабину для ИТР выделили и в мастерских, площадью метров 6-8. Поместились мы там втроем: я и Панин с чертежными досками, и технолог, Борис Рехес. Была там у нас большая печь и нары под потолком, в морозы на полу был лед, а на нарах дивное тепло, и мы туда лазили, по строгому графику, отогреться и поспать. Снизу не было видно, что там кто-то лежит, вот только Борис иногда храпел, и приходилось стучать снизу, чтобы утих.

Бориса все любили. Было ему под 30, красивый, горбоносый еврей, с породистым лицом, голубыми, азартно выпученными глазами, пепельными редующими волосами. Обладал он зычным голосом и чудовищной памятью, мог, например, полчаса сыпать длиннейшими химическими формулами (он был химик-органик), мог наизусть прочесть всего «Бориса Годунова» или всего «Евгения Онегина». Мигом освоил работу технолога, запомнив при этом огромное количество нормативов. Казался он легковесом, за разговорчивость получил прозвище «Брехес», над ним часто подшучивали – на что он никогда не обижался. У него был добродушный, легкий, беззлобный характер. А во время лагерного дела он проявил себя твердым и разумным человеком, не дрогнул и не поддался.

Был в мастерских еще Леонид Федорович Линдберг, потомственный ленинградец с дальними шведскими предками, лет 38, член партии, инженер-технолог высокого класса. В 30-х годах стажировался в США. Приземистый, белобрысый, с авторитетными манерами и уверенной осанкой, немного не вязавшейся с рваной телогрейкой. Был он, до ареста, главным инженером завода боеприпасов. В 1940 г. ввел новую, рискованную технологию, и в первые дни пошел на заводе брак до 30%. А именно в это время вышел указ об уголовной ответственности за производственный брак, и дали Линдбергу по суду 8 лет. В лагере получил он известие о том, что завод без него эту новую технологию освоил, с большим при том эффектом. Дело его пересмотрели, и осенью 1942 г. он освобожден и уехал. Симпатичный он был человек, деловитый, неунывающий, с большим чувством юмора, отлично поставил себя перед администрацией. В мастерской

создал группу измерительных инструментов, обучил двух слесарей и спокойно досидел до освобождения в теплой инструменталке. Он тоже был неременным членом нашей небольшой ИТР-овской компании. Вообще кабина наша была клубом, куда то и дело заглядывали разные люди, погреться и потрепаться.

Рабочий день был 12-часовой, включая часовой перерыв на обед, когда привозили в мастерские в большом баке застывшую баланду. Конечно, каждый кантовался (давал себе передышку) как мог, не исключая станочников, то и дело устраивавших себе простои по объективным причинам. Но вместе с тем приходилось работать много и результативно, иначе – общие работы, а н« освободившееся место ждали десятки охочих.

Любопытная вещь: далеко не все инженеры могли приспособиться к условиям работы в лагере. Модно даже сказать, что удавалось это меньшинству. Привыкший к упорядоченным заводским условиям инженер часто терялся в обстановке нехватки всего, что требуется для нормальной работы. Что до меня, то освоился я довольно легко, может потому, что стаж мой был довольно пестрым, довелось побывать, в казахстанской ссылке, и техником-строителем, и сметчиком, проектировщиком, прорабом; мастером по авторемонту, контролером ОТК, конструктором по самым разным отраслям. Работал а и в маленьких мастерских, и на больших заводах, и в НДЛ. Этот пестрый опыт пригодился для работы в лагере.

Но вот например, Панин был беспомощным в этих условиях, несмотря на отличную подготовку и ученую степень. Вот не получалось и всё тут, как ни объясняй. Играла роль и малая способность уживаться с людьми, да и весь он был немного недоделанный, этакий великовозрастный бойскаут. Между прочим, после Вятлага попал Панин в шарашку, где находился вместе с Солженицыным, и выведен в повести «В круге первом», не помню под какой фамилией, внешне описан точно; голубоглазый брюнет с бородкой. Не помню уже, каким косвенным путем а об этом узнал.

Что же еще о людях, которых помню по мастерским? Вот было у нас два ночных сторожа, Фредин и Дин-Дзи-Мин, оба циркачи.

С Петром Семеновичем Фрединым были мы большими приятелями. Одессит, лет под 60, небольшой, немного похожий на Чаплина и такой же подтянутый и ловкий. Был он потомственным циркачом и эстрадником, начал беспризорным мальчишкой в ярмарочных балаганах, выступал в кафе-шантанах, цирках, и умел решительно всё. По основной специальности дрессировщик, много лет работал у Дуровых, и даже получил от их семьи право на псевдоним, Петр Дуров, была у него и чудом сохранившаяся в лагере афиша такая. Срок он получил по подозрению в шпионаже; выступал в итальянском посольстве в Москве.

В лагере Фредину, как и всякому артисту, жилось терпимо. Он часто выступал в клубе лагпункта, руководил каким-то кружком, и КВЧ устроило ему работу под крышей. Был Фредин необычайным рассказчиком, и его цирковые истории можно было слушать часами. Бесподобно танцевал. «Петр Семенович, а что такое матчиш» – «Минутку», подумает и изобразит, да» еще как! Пел множество уморительно похабных шансонеток начала века, отплясывая при этом отчаянный канкан.

И еще был у него номер, пантомима: расстрелы в одесской чека. Показал его он мне одному, убедившись, что по соседству в мастерской никого нет.

Тянется заунывный, с надрывом, еврейский мотив без слов, Глаза у Фредина полузакрыты, сумасшедшее лицо, покачивается. Жесты: вот он выпил стопку, вот нюхнул кокаину. Тянется, тянется мотив. И внезапно окрик – «Зец!» (сядь!), и жест выстрела в чей-то затылок. И снова этот въедливый мотив. Вспоминаю, как у меня холодок по спине шел.

А потом случился в мастерских вечером небольшой пожар. Время было рабочее, и огонь моментально погасили. И хоть ночной сторож был здесь абсолютно не при чем, но надо было найти виноватого, и Фрединым занялся оперуполномоченный. Результат – три месяца штрафной подкомандировки, т.-е. для Фредина верный смертный приговор.

На «штрафняке» был тюремный режим. После работы, с повышенной нормой, зеков запирали в зарешеченный барак. Питание было утром и вечером, со сниженной нормой, причем пищу не раздавали, а приносили в барак один бак на всех. Раздачей распоряжалась группа самых влиятельных блатных, и кто послабее и постарше – попросту не получали еды.

Фредину помогла начальница КВЧ, выпросивши его из изолятора на случившийся в это время концерт. На такие вечера в клубе лагпункта всегда и начальство являлось. Мне удалось протиснуться в маленький, битком набитый зал и увидеть, как Фредин с шиком отплясывал лихую чечетку на высоком столике для цветов, величиной не более тарелки. В глазах у него была ясно видимая смерть. И таки выплясал помилование. Публика редела от восторга, начальству в первом ряду тоже очень понравилось, и штрафняк отменили. А этот номер всегда потом вспоминали, как «пляску смерти».

Чтобы закончить о Петре Семеновиче Фредине, можно добавить, что в 1984, кажется, году появились о нем две заметки, и не где-нибудь а в «Советской, Культуре» и в «Правде», повод, сколько помню, 90-летие старейшего эстрадного артиста, очень теплые заметки, а в «СК» и с портретом. Указывалось, что он сейчас общественный администратор ЦДРИ. Нашли мы его там, свидание спустя 40 с лишним лет. Крошечный, высохший, с огромной эстрадной «бабочкой» алого цвета и – двумя царскими Георгиями на пиджаке, выданными ему, по его словам, лично Брусиловым. Одиноким он был и запущенный. Побывал у нас, лишь раз, ему трудно было ездить, очень нашел контакт с моей женой. Меня он, боюсь, так и не вспомнил. Весной 1986 г. узнали мы о его кончине».

Второй ночной сторож, Дин-Дзи-Мин, как и всякий русский китаец, имел и русское имя, Митя. Был он фокусником, притом очень высокого класса, и почти без всяких приспособлений показывал нам самые удивительные штуки, не только с клубной эстрады, а и в мастерских, когда выпадала свободная минута. Секреты фокусов никогда не выдавал – «нелизя, такая закона». Спрашиваем, за что сидишь, Митя? – японска шпиёна, отвечает с добродушной широкой улыбкой. Был он вежливый и услужливый, как, впрочем и все другие китайцы, что приходилось встречать в лагере и ссылке. Моложавый, возраст неопределенный. Гордился, что у него на воле есть «русская баба» – и показывал фотографию огромной еврейки в эстрадном китайском костюме; он ее обучил и вместе с ней выступал. Жил он на Дальнем Востоке, имел родню в Китае – отсюда и лагерь. Были по мелочам признаки, что Митя, может быть, не так и прост, возможно и образован. Но в лагере ведь не принято было допытываться.

Развод

Каждое утро к 7 часам мы выстраивались в зоне по бригадам, на работу. К этому времени надо было получить на день талоны на питание, постоять в очереди на кухню с котелком, получить и съесть баланду. На улице еще ночь, лютый мороз. В Кировской области в зиму 1941–42 гг. сорокаградусные морозы начались с ноября и длились до середины марта, доходили до –48. Одеты мы плохо, в рванье. Надо впрочем сказать, что только немногие оставались без валенок, латаных-перелатаных, но хоть ноги были в тепле. Баянист играет марш застывшими пальцами. В 7 часов включается громкоговоритель над воротами. Последние известия. «Наши войска после тяжелых боев оставили...» Голос диктора смешивается с окриками и матерщиной конвоя. Сначала выводят из зоны бригады на общие работы: лесоповал, лесная биржа, погрузка леса на платформы, расчистка путей. Очередь мастерских последняя, успеваем одереветь. Через ворота выходим построившись по 10 человек. Двое охранников, с двух сторон, считают шеренги и делают пометки на фанерных дощечках. За зоной перестраиваемся по двое, так как дорога в мастерские узкая, между двумя сугробами. Старший конвоя читает

утреннюю молитву: «...шаг в сторону считается за побег, оружие применяется без предупреждения. Пошли!». Конвоиры щелкают затворами. Сзади и спереди колонны по стрелку. Плетемся еле-еле, голодные и невыспавшиеся. Голова полна утренними известиями. Все такие знакомые города у немцев, и уже совсем рядом с Москвой, а там жена с дочкой. Украина уже занята, а мать в Киеве. Что же будет?

Как ни медленно ползем, но некоторым и такой темп очень труден. Еле движется высокий, сутулый старик с длинной седой бородой, ленинградский профессор физики, Дическул по фамилии, учетчик в нашей мастерской. Аристократ, умница. Его все любили и уважали, не исключая шпаны. Так и не пережил он эту зиму. С трудом идет и Ниночка, молодая, красивая и неунывающая, сидевшая за высокопоставленных родителей. После следствия и тюрьмы у нее что-то случилось с ногами и почти начисто облысела голова.

Наконец добираемся до зоны мастерских. Сторож протопил, в помещениях тепло, долго отогреваемся и начинаем очередной рабочий день.

Вечером возвращаемся в рабочую зону уже веселее, ведь срок стал на один день короче. Каждый тащит полено для барака. Часть этого добра отбирает охрана в воротах, топить караулку и прихватить домой; все охранники были семейные, имели дома и хозяйство.

Бежим за ужином, затем разогреваем котелки в бараке на печке. Наступают блаженные 2-3 часа до отбоя. В бараке жарница. Можно потолковать с соседями по нарах, узнать лагерные новости – а их всегда множество, и страшно интересных. И – спать.

Матрас у меня, как и у многих, украли в первые же недели – на них всегда был хороший спрос за зоной. Но это не мешало отличному сну, не чувствовались и клопы. Ботинки или валенки, шапка, накрывались полотенцем, и это была подушка, на нары клалось донельзя выношенное казенное одеяло. Накрывался я старой овчинной дворницкой шубой. Мне ее жена передала в Бутырку, и это было спасение за все годы лагеря и ссылки, предмет всеобщей зависти.

Кажется, только закрыл глаза, и опять подъем. В первый момент не соображаешь, где ты. Полутемно, холодно – за ночь выдуло барак. Кашель, матерщина, вонь. Кругом копошатся оборванные люди...

Знакомство с лагпунктом

Постепенно стал я осваиваться в зоне. Выпадали и свободные дни, редкие отгулы за переработку, или когда удавалось получить освобождение от врача. Впрочем болел я в заключении очень мало. Стал разбираться, что в лагере можно и чего нельзя, основным правилом было – не высовываться, не попадаться на глаза любому начальству, всегда быть в толпе, а не в одиночку. Усвоил и основы лагерной философии: «не делай сегодня то, что можно сделать завтра», «не оставляй на завтра то, что можно съесть сегодня» и «день кантовки – месяц здоровья».

Получил также понятие о лагерной иерархии. Зеки делились на работяг и придурков. Работяги – кто работал руками, придурки – это нарядчики, ИТР, диспетчеры, каптеры и так далее, т.-е. все те, кто руками не работал.

Если человек терял силы и сопротивляемость, работать больше не мог, то он переходил в категорию доходяг.

Стояли у барачков огромные мусорные лари с откидной крышкой. Идешь и видишь – крышка откинута, стоит человек, сам скрылся в ларе, виден только худой зад. Ищет еду. А что там можно найти, кто бросит объедок, если в лагере голод? Это был признак голодного психоза. Если доходяга полез в мусорный ящик, значит ему остались считанные дни да смерти.

Как нас одевали

Со временем появились у меня знакомства среди нарядчиков, каптеров, диспетчеров. Среди них попадались люди интересные, бывалые, образованные. Ничего стоящего для подкрепления связей у меня не было, но благодаря случавшемуся иной раз хорошему разговору удавалось добывать всячину – выписать пару нового белья, теплые портянки и тому подобное.

На каждого новоприбывшего зека заводилась учетная карточка. Первое время можно было получать только одежду третьего срока, невообразимое вонючее рваньё с прожженными у костров дырами.

Верхней одеждой во всех лагерях служила телогрейка – кстати, удобная и практичная вещь, если новая. На зиму давались ватные бушлаты, те же телогрейки но подлиннее и ваты побольше. Штаны были бумажные. В виде особой удачи можно было получить и ватные штаны, «инкубаторы», как прозвала их лагерная интеллигенция. Но их было мало, они назначались для общих работ. На теплое время полагались бумажные гимнастерки из чертовой кожи или похожего на нее материала; такую ткань я видел только в лагерях. Шились они с воротником и манжетами другого цвета, напр. зеленый с оливковым или черным. Это чтобы легче распознать беглеца и чтобы не продали за зону. Но это не помогало. Рассказывали, что радиусом 50 км вокруг лагеря все деревни были одеты в лагерные вещи. Иногда снаряжались экспедиции, отряд охранников производил самочинные обыски и конфисковал арестантское добро, но на торговлю это не влияло. Надо не забывать и об острой нехватке одежды перед войной, если уж и в Москве пара брюк представляла проблему.

Зимой полагались долинки, но с ними всегда было туго, и всегда доставались они старые. Новые немедленно уходили за зону. Рабочих ботинок почти не было, и большинство работяг весну, лето и осень ходили в ЧТЗ – так назывались, по имени большого гусеничного трактора тех времен, огромные грубые калоши из прорезиненной ткани. Эту ткань получали из старых автопокрышек, разодранных на слои. Некоторые перехаживали в ЧТЗ и лютые вятские зимы, обмораживая ноги. Страшный вид был у этой обуви. Идет по зоне такой вот доходяга, полупокойник, еле тащит своими слабыми ногами пудовые ЧТЗ, на голове ватная ушанка, одно ухо оторвано, подтянул руки в рукава бушлата с выжженной спиной. Смотрит под ноги, а вдруг кто-то уронил кусок хлеба.

Старые зеки обычно были одеты немного лучше, но не все. Многим так и не удавалось приспособиться, и они ходили оборванными до конца срока.

Новые люди

Стали появляться и человеческие контакты в зоне. Очень мне запомнился Венкстерн. Первый раз я его увидел когда он отчаянно торговался с каким-то доходягой из больницы, выменивая у пего на табак пару грязных кусочков сахара; самосад служил в зоне основной и универсальной валютой. Присмотревшись потом к Венкстерну я понял, что это было одно из проявлений жизненной цепкости, благодаря которой еще держался этот старый и больной человек. Ему было за 60. Он всегда умудрялся найти какой-то способ поддержать силы и здоровье, научил многому и меня. Работал он в диспетчерской лагпункта, и с ним очень считались благодаря большому уму, выдержке и корректности. Импонировал он всем и тем еще, что явно никого не боялся, от начальства и до шпаны. Был это небольшого роста породистый старик, аккуратный и чистенький, с седой эспаньолкой. Объяснялся он с петербургским выговором. Речь его была очень правильной и точной, но с тем несовременным оттенком что у Бунина, в его рассказах эмигрантской поры.

Мне было приятно и, что тут говорить, лестно, когда он первый подошел ко мне с разговором. В дальнейшем мы подружились, часто встречались, о многом переговорили, пока меня не перевели на другой лагпункт. Там я узнал о его смерти, сколько помню – летом 1942г.

Был он сыном, а может – внуком первого русского научного пушкиниста Венкстерна. До революции – крупный чиновник МИД. После Октября сразу же перешел на сторону советской власти. В 20-х годах был направлен в Францию, в торгпредство, где проработал ок. 17 лет, затем его вызвали в Москву и репрессировали.

Спрашиваю его, знал ли он Балтера. Оживился он – ну как же! А что с ним? – посадили, говорю, в 1939. А тут Венкстерн заплакал. Боже мой, говорит, этого-то я и боялся, но что я мог сделать? Я же и намекнуть ему не решился на истинное положение, да он бы и не поверил...

А что же этот Балтер? Зимой 1937-38 гг. наша соседка по московской коммунальной квартире на Кропоткинской уехала на 2 года на Север, и сдала свою комнату молодой паре. Оказалось – настоящим парижанам! Павел и Ядвига Балтеры. Он – черный, очкастый, здоровенный как медведь. Его родители, русские евреи, эмигрировали на запад еще до революции. Павел окончил в Париже по архитектуре, работы не имел. Жена долго подрабатывала поденно, тем и жили. А Ядвига была из рижской еврейской семьи, тоже долго жила в Париже, там окончила какое-то музыкальное училище. Была она некрасивая, но необыкновенно обаятельная, и до того милая и приветливая, что ее полюбили и самые стервозные соседки в нашей многонаселенной квартире.

В СССР Балтеры оказались потому, что заочно без памяти влюбились в советский строй. Стали добиваться нашего подданства. Их несколько лет мурыжили в посольстве, мотивируя тем, что это право надо заслужить. Балтеры уже немного знали русский, и Ядвигу стали иногда брать переводчицей для наших технических делегаций.

Тут Венкстерн и познакомился с ними. Ядвига при этой работе фанатично старалась заслужить право на наше подданство, шла на риск, напр. добывала образцы металла на авиазаводе. «Это ведь было нужно для нашей будущей родины!» объясняла мне она.

Советские паспорта получили они в 1937 году. Оказались в Москве. Жилья им не дали, ютились где придется. Павлу работу не предоставляли месяцами, Ядвига пошла музруком в детсад. Но восторга они не теряли, очень отмечали бесплатное медицинское обслуживание, образование, дешевый транспорт – и даже решились на ребенка, чего во Франции не могли себе позволить. Родилась у них девочка уже в нашей квартире, а летом 1939 Павла забрали.

Вспоминается мне длинный разговор с бедной Ядвигой в пустой кухне, как она рыдала, как твердила что это удар ей в лицо от матери, которой они посчитали нашу страну, как они прозрели вскоре после приезда – но было уже поздно. Павел погиб в лагерях, я узнал об этом уже после освобождения.

Всегда были, и вероятно и сейчас еще есть, люди на Западе, бескритично увлекающиеся нашей страной, видящие ее такой, как им хотелось бы, чтобы она была. Иные из них прорывались к нам, сознательно отрезая себе возврат. Потом наступала трагедия, когда рушился придуманный ими идеал, а финалом был, в сталинские времена, неизбежный арест. Такие люди не раз попадались мне в лагере. Вспоминаю, например, американских финнов. Трое их было, все молодые, под 30. один из них – Лонн, здоровенные и рыжий, мой приятель в дальнейшем. Двух других не помню, как звали. Они обрадовались возможности поговорить по-английски с кем-то посторонним, и мы не раз встречались вечерами и много беседовали. Все трое оказались бывшими членами американской компартии и фанатиками СССР – увы, тоже бывшими. Все трое были рабочими. Как не вспомнить было Балтеров: эти ребята точно так же долго добивались нашего подданства, и получили его в 1934 г. Поселили их в Петрозаводске, там они могли объясняться с карелами, пока кое-как не научились по-русски. Впрочем и в 1941 г. говорили очень плохо.

В 1937 их забрали, все подали в Вятлаг. Большой голод пережил только Лонн, и то с безнадежно испорченным сердцем.

Познакомился я на 1 лагпункте с семьей Русиных. Брат с сестрой и сын сестры, подросток. Был у них разговор дома, за чайным столом, в присутствии четвертого, старого друга семьи, который и сообщил о вольных высказываниях. Брат» старый московский интеллигент, умер в 1942 г., сестра с сыном пережили, вернулись в Москву.

Мать и дочь Адасинские, Александра Абрамовна и Галя, жили за границей много лет с мужем, работником торгпредства. Нестандартная формулировка по ОСО бы у Александры Абрамовны: «по совокупности обстоятельств; которыми являлась и жизнь за границей, и родители – очень уважаемые Лениным супруги Бройдо, меньшевики, и арест и осуждение дочки, Гали. Мать и дочь оказались в одном лагере. Затем у Гали родилась девочка, и до освобождения в 1947 г по амнистии для матерей она жила на детской подкомандировке. Мать тоже выжила.

Малолетних из семей, где все взрослые были репрессированы, забирали в детские дома, и тут надо рассказать о встрече в Бутырке, о которой сейчас вспомнил. Попал к нам в камеру бывший директор специального детдома в Горьком, куда эти дети направлялись для дальнейшего распределения. По его словам прошло их у него за несколько лет много тысяч. Кому было меньше 4 лет, тем давали новую Фамилию и после 1956 года многие родители безуспешно искали своих детей по всей стране. Кто постарше – фамилию сохранял, но подлежал в детдомах особому режиму, и ребенку постоянно внушали, что он сын (или дочь) врага народа. Директор этот явно получил срок потому, что слишком много знал.

Еще были у нас в зоне венгры-политэмигранты. Один из них, фамилию не помню, был в прошлом редактором какого-то левого издания в своей стране. Подтянутый, чисто выбритый, всегда выглядел воспитанным европейцем и в своей рваной телогрейке. Работал он в лагере на лесоповале и умер в самом начале большого голода. С ним дружил Леймер, попросивший сходить с ним вместе в мертвецкую, чтобы найти его и попрощаться. Это был сарай у выхода из зоны, туда складывались покойники до захоронения. Мы увидели там несколько десятков трупов, белых и замороженных, сложенных штабелем. Лежали они голые, у каждого на ноге привязанная деревянная бирка с номером личного дела. Иногда этот номер был написан химическим карандашом на икре. Нашли мы и редактора. Ноздри у него были объедены крысами. В дальнейшем мы присмотрелись, крысы объедали у мертвецов только ноздри и уши, видимо, хрящи им были больше по вкусу.

Двое других венгров прибыли в Вятлаг из туполевской шарашки. Один вскоре умер и не остался у меня в памяти. А другого я хорошо знал много лет, и в лагере, и в ссылке, и на воле. Кунович Ласло, венгерский еврей, инженер-электрик, собственно даже доктор-инженер. Уроженец Будапешта, образование получил в Милане. Добряк, умница, весельчак в самые даже трудные полосы лагерной жизни. Вид у него был тогда в точности как у горьковского Барона в «На дне». Невообразимые лохмотья, рваные ЧТЗ, но – подбритые усики и небрежная аристократическая осанка. А разговор! С чудовищным акцентом – «Юрий! Какой я нашел окуроч, прекрасный самосад, попробуй!». Кстати, поднять с земли бычок, когда нечего курить, ничуть у нас не считалось зазорным. Жаль только, что редко удавалось. Ласло, венгерский коммунист, в 1935г. эмигрировал в СССР, спасаясь от тюрьмы у себя на родине. Поселили его в Горьком, работал он на радиозаводе, женился, собирал марки (его страсть на всю жизнь). Так он жил до ареста в 1937 г. До 1941 г. работал у Туполева. В Вятлаге занимался чем придется. От общих работ спасла скрипка – играл в оркестре. Кончил он срок на Воркуте, куда его этапировали после лагерного дела. Там он тоже играл в оркестре и работал на складе электрооборудования. Удалось ему и Воркуту пережить.

Встретил я его потом и в сибирской ссылке, а затем и в Москве, и в Будапеште, но об этом в свое время.

Осенью 1941 года оказалось в лагере много латышей, эстонцев и литовцев. Их эвакуировали из Прибалтики летом, в последние дни перед приходом туда немцев. В основном это была интеллигенция: чиновники, учителя, пасторы, люди различных свободных профессий – адвокаты, актеры, художники. Народ всё крупный, здоровый. Всех их отправили на лесоповал, и первую лагерную зиму пережили из них только единицы. Так было всё время: люди, жившие до лагеря сытно и комфортабельно, упитанные здоровяки – а такими прибалтийцы и были в большинстве – не выдерживали лагерных условий, к которым гораздо легче приспосабливались иные хилые и болезненные зеки из городской бедноты.

Приятель мой, латыш, рассказывал, как происходила эвакуация. В первые же дни войны несколько тысяч семей в Латвии (называли даже 13 тысяч) получили извещение об обязательной и срочной эвакуации: оказалось, что списки уже имелись задолго до начала войны. То же произошло и в Эстонии, и Литве. Объявили, что вывозятся семьи налегке, направление – Урал, называли и место. Во вторую очередь мужчины с багажом. Разрешалось взять достаточно имущества, и мужчины, отправивши жен и детей, погрузились с огромными кофрами в свои эшелоны. Естественно, что все прихватили что было ценного – серебро, золотые вещи. Семьи действительно оказались на Урале, а мужчин, в их эшелонах, объявили арестованными. Не останавливая движения провели следствие и осудили, по политическим обвинениям, в основном на 10 лет. И доставили прямо в лагерь.

В Вятлаге, а по рассказам и во всех других лагерях, их немедленно ограбили, причем проделала это лагерная администрация. Шпану и близко не подпустили к заграничным вещам. Здесь можно вспомнить, что до войны почти никто у нас и в глаза не видел заграничной вещи: а тут такие сокровища. Ограбление это было проделано очень просто: прибалтиец сдает на склад дорогую шубу, делается запись – «пальто», приходит получать – вручают рваный бушлат: хочешь – иди жалуйся. Вместо заполненного кофра выдают пустой фанерный чемодан, и т.п. Все эти вещи, а также ценности, разобрал лагерный персонал, и сколько было скандалов при дележе – мы же все об этом знали. Портновские мастерские лагеря, а в них было немало отличных мастеров, несколько месяцев были заняты перешивкой прекрасных заграничных вещей, особенно женских, для семей лагерного начальства. Шли в драку, в первую очередь, женские, модные тогда короткие шубки, дорогим мехом наружу.

У каждого охранника можно было увидеть то заграничный кошелек на молнии, то шелковую рубашку, то носовой платок явно не нашего образца. А сам лично видел у начальника Вятлага Левинсона огромный, квадратный, золотой с рубинами и монограммой портсигар, и наши латыши прекрасно знали, кому он раньше принадлежал.

До ноября 1941 г. в зоне было полно поляков, солдат, штатских и очень немногих офицеров. Было занятно смотреть, как они соблюдали декорум; при встрече целовали руку нескольким заключенным полякам, лихо козыряли таким же, как и они, оборванным доходягам офицерам. Затем, в ноябре, их поспешно собрали и отправили, по слухам, к Андерсу. Увезли в Москву и Сепегу со специальным фельдъегерем. Был разговор, что его переправили в Лондон.

Чтобы закончить о людях в зоне; когда я говорил о мастерских, то забыл рассказать еще о нескольких людях, о которых стоит вспомнить. Двое из них были конструкторами-пушечниками. Один из них – Маханов, мрачный человек с тупым и грубым лицом, но по манере и осанке можно было догадаться, что в прошлом – немаловажный руководитель. И действительно, он был главным артиллерийским конструктором Путиловского завода. Привели его в мастерские зимой 1941–42 гг. Попытку его заняться у нас руководством наша компания ИТР дружно и эффективно пресекла. К рядовой работе он оказался совершенно непригоден, болтался в мастерских какое-то время почти без дела. Иногда выступал с разными предложениями, то новый способ выжигания угля, то еще что-то. Каждый раз терпел крах, ничего не получалось. По лагерю ходили о нем анекдоты, но на

общие работы его не посылали, чувствовалось, что начальство считается с каким-то указанием насчет его. Наконец Маханов послал в верха предложение, кажется, о новом типе пушки, дали ему кабину, где он под строгим секретом работал, затем увезли его в шарашку.

Может и не стоило рассказывать о Маханове, если б не попались мне, несколько лет тому, в «Звезде» или «Знамени», не помню, воспоминания известного пушечника Грибова. В них он обрушивается на Маханова за нежизненные разработки на Путиловском заводе, противодействие развитию артиллерии. Упоминания о Маханове кончаются в этих мемуарах на осени 1941 г., а спустя несколько месяцев Маханов возник в Вятлаге. Ну как не заподозрить, что здесь был пущен в ход обычный в те года способ разделаться с оппонентом путем его посадки.

А второй пушечник был ленинградский эстонец Женя Корб. Тихий, милый и воспитанный человек, из тех, что мухи не обидит. Он некоторое время числился в мастерских, потом был отправлен, кажется, тоже в шарашку. Женя любил свою специальность, и мог бесконечно рассказывать о площади поражения, убойной силе снаряда и подобных вещах. И как-то вырвалось у меня: «Женя, да ведь вы же убийца!» Он разволновался и обиделся, «Но ведь это же очень нужно, вот и сейчас война, не я бы так другой кто делал, и потом ведь это так интересно!» Можно бы добавить – и так хорошо оплачивается.

Разговоры с Женей были для меня продолжением сомнений в смысле и оправданности работы инженера. Сомнений в том, что мы, как принято считать, начало творческое и инициативное, а не тащимся вслед за движением техники, давным-давно вышедшим из-под человеческого контроля. Результаты нашей работы всегда могут быть повернуты во зло людям, так имеем ли мы моральное право ее продолжать?

Эти сомнения не решены для меня и по сей день, на старости лет.

Еще был короткое время в мастерских московский таксист, парень лет 20-ти, еврей, из Харбина. Он говорил, что является последним из 40 тысяч репатриантов из зоны КВЖД, которых пересажали почти сразу после прибытия в СССР, включая его многочисленную семью, а он каким-то чудом уцелел до 1940 г. Впрочем, потом я узнал, что из них единицы, кое-где в Сибири, просуществовали даже до послевоенных времен; но конечно это не меняет факта жестокой репрессии десятков тысяч тех дезориентированных неудачников.

Работал в мастерских немолодой моряк торгового флота, с которым я разговорился в бане, увидев у него на руке превосходную татуировку, необыкновенного восточного дракона в четырех или пяти красках. Она была сделана в Сингапуре. История этого человека, которую подтверждали сидевшие у нас и знавшие его по воле люди, бала такая: в 1918, кажется, году, когда во Владивостоке пришли к власти белые, компания молодых мичманов решила перейти на сторону советской власти, захватила миноносец и отплыла на юг, с расчетом обогнуть Индию, и через Суэц – в Черное море. В Сингапуре, куда им пришлось зайти за топливом, их интернировали англичане, подержали, затем распустили, куда кто хочет; миноносец оставили себе. Моряк этот проболтался несколько лет в Сингапуре, на Цейлоне, в Юго-Восточной Азии – рассказывал вечерами на нарах массу интересного. В конце концов вернулся в СССР через Иран. Плавал на торговых кораблях, пока в 1937г. не спохватились, что ведь не может быть, чтобы он не был английским шпионом.

А чем дышали зеки?

Надо рассказать и о зековских настроениях. Для начала: как чувствовали себя в лагере бывшие члены партии? Лично я не заметил ни у кого из них признаков сохранения в душе партийных идеалов, о чем не раз говорилось в «разоблачительных» литературных

произведениях, публиковавшихся начиная с конца 50-х годов. Не надо забывать и то обстоятельство, что для старых партийцев следствие НКВД проходило, как правило, гораздо жестче, чем для беспартийных, и идеалы выбивались из них накрепко. В лагере бывшие члены партии решительно ни в чем не отличались от беспартийных – ни в поведении, ни в высказываниях. О своей бывшей партийности говорилось неохотно, а чаще всего она попросту замалчивалась. Похоже было, что каждый партиец опасался вопроса; «так вот за это ты и боролся?» – хотя никто и никогда такого не мог бы сказать, так как нарушил бы этим неписаные правила арестантской этики.

Все же попадались отдельные тупицы, пытавшиеся проявлять идейность вследствие длительной привычки к руководству и наставлениям, но их быстро ставили на место. Прибыл вместе с нами небольшой серолицый человек, кажется бывший кадровик. Первое время он пытался одергивать вольные высказывания, но немедленно стал всеобщим посмешищем. А поскольку он ходил в очень рваных штанах, то получил прозвище – «беспарторг», которое к нему так и прилипло. А дали ему эту кличку именно старые партийцы.

Были ли зеки пораженцами?

В принципе не пришлось бы удивляться пораженчеству у ни за что, ни про что лишенных свободы людей, однако в массе зеки безусловно не были пораженцами. Конечно, – попадались, можно было догадаться, но это были единицы, и они помалкивали. Если высказывались, то как редкое исключение. Например был такой прибалтийский барон Гильдебрандт, профессиональный шпион. Он, на стесняясь, на своем чистейшем русском языке заявлял, что вот придут немцы – и отлично, он не пропадет. Между прочим, в Прибалтике был хорошо известен его брат, знаменитый международный вор. А «наш» Гильдебрандт рассказывал, что работал на нас в Германии. Приехав в Москву в 1938 г. он докладывал Ежову об обширных военных приготовлениях немцев против нас, о военных заводах и воинских частях, где ему удалось побывать. Ежов разорался, назвал эти сообщения х...й и отправил Гильдебрандта на лифте в подвал, сидеть. Это был единственный открытый пораженец и второй по счету настоящий шпион, что мне встретились в заключении.

А верили ли мы в нашу победу?

До Сталинграда – и да, и нет. Здесь надо учесть и то, что мы видели войну и военное время как бы с изнанки. Вокруг нас разруха и голод. Были мы под начальством бестолковых и невежественных людей, попросту не понимавших – мы это видели – серьезности военного времени. Если и на воле руководство такое же, так мы судили – а этому было много признаков, хотя бы катастрофы первых месяцев – то дело наше плохо.

К таким выводам толкал и сам факт существования лагерей в военное время, нелепица и абсурд. На заводах у станков дети, в колхозах одни женщины. А здесь так, как будто никакой войны нет. Стережет нас множество здоровых, обученных солдат и офицеров. Да и мы сами – работоспособные, в большинстве квалифицированные люди. А работаем, из-за никчемной организации труда, с отдачей 20-30%, не более. Заняты на третьестепенной для войны работе. Помираем попусту, причем в зиму 1941-42 гг. – в темпах, не уступавших хорошему сражению на фронте.

Часто говорили мы и о том, что лагерная система, видимо, служит только поводом спасения от фронта аппарата НКВД, огромной армии следственного, тюремного и лагерного персонала. Лагерные охранники, часовые, собачники с бобиками, оперотделы, раздутая, отупевшая от безделья лагерная администрация, да еще и опергруппы по окрестным селам, на случай побега. Правда, конвоиров в 1942-43 гг. стали направлять в армию, но очень понемногу – и как они паниковали, не скрывая этого от нас! Офицерский состав так и не тронули до конца войны.

Очень многие зеки подавали заявления об отправке на фронт. Сам я написал их 10 или 12 на имя Сталина и Берии, но они, кажется, и не уходили из лагеря. Зеков брали в армию только единицы, только бытовиков, только по чьему-то влиятельному ходатайству.

Наше настроение

Жалоб и нытья не было слышно даже и в самые тяжелые полосы, когда кругом помирали от голода, когда никто не знал, доживет ли до воли или нет. Всегда очень ценились шутки, анекдоты, розыгрыши, пусть и самые грубые, лишь бы посмеяться и немного отойти.

Не полагалось обижаться и заводиться; пожалуй это понималось так, что он ставит себя выше прочих, а это не прощалось, и такого превращали в мишень для издевательств».

Многого мы ожидали от окончания войны, большинство было уверено, что лагеря распустят, что больше не будут сажать зазря, что появятся разные свободы. Это казалось

неизбежным, поскольку надо будет восстанавливать страну. Хорошо бы, думалось, чтобы Великий и Мудрый куда-нибудь девался после войны. В лагерях ведь ценили его совсем другой маркой, чем на воле.

Откровенные разговоры

Живой человек не может существовать без обмена информацией, и когда в лагере осмотришься и поймешь, с кем можно говорить – конечно, с известной при этом долей риска – то удастся узнать массу любопытного. В том числе и про Сталина.

Часто рассказывалось о его бандитской молодости, но это общеизвестно, да и конкретных фактов мне не пришлось узнать. А интересовало меня другое; механизм взрыва репрессий в 1934 и в 1937-38гг. По осторожным рассказам людей, близко стоявших к «верхам» или даже к этим «верхам» в прошлом принадлежавших, дело было в постоянной неуверенности в себе Сталина, низком его уровне, его тупости, азиатчины его натуры и знаменитой его подозрительности, которую все, знавшие Сталина, сравнивали с той же чертой Ивана Грозного. Плюс его поистине зверская жестокость, не знавшая никаких ограничений. Плюс постоянные его ошибки в управлении государством, малые, большие и очень даже большие, которые он про себя понимал и постоянно подозревал, что понимают это и другие. Плюс патологическое стремление к единовластию. Плюс явные признаки паранойи.

Обо всем этом говорили люди, встречавшиеся со Сталиным, годами вблизи наблюдавшие его деятельность, и подчас даже радующиеся, что наконец-то могут об этом поговорить. Пусть и изредка и по словечку-два, и то в иносказательной форме.

Не могу вспомнить уже их фамилий, да впрочем и не стремлюсь к этому. Беседы эти, разумеется, велись крайне осторожно, изредка, Сталин по имени никогда не назывался, лишь подразумевался. По капелькам, но это длилось многие годы, и набралось достаточно.

Когда Сталин считал, что кто-то опасно, для него, выдвигается, то уничтожал его. Так был убит Киров, и в лагерях об этом было точно известно. После Кирова были убиты исполнители убийства, затем организаторы, затем уничтожили и второй эшелон исполнителей, затем и всех, кто мог хоть как-то к этому касаться.

Отбывал в Вятлаге срок пожилой ленинградский рабочий с дореволюционным партийным стажем. О нем было известно, правда – очень немногим, что он связан с делом Кирова. Но он об этом некрепко, молчал, лишь как-то высказался, что жив лишь благодаря молчанию. После убийства Кирова, использованного как обоснование зажима (лозунг того времени – «беречь жизнь вождей как знамя на поле боя») – прошла большая волна репрессий, особенно в Ленинграде. И почему-то по линии «бывших», напр. сыновей и внуков дворянских, полковничьих и генеральских. Ссылали даже людей с двойной, через тире, фамилией, что расценивалось как признак дворянства: сам видел таких, и в 1935 г. в Саратове, и в 40-х годах в лагерях.

Надо впрочем сказать, что по моему впечатлению основную их массу сослали недалеко, хотя бы в тот же Саратов, и в 1936г., в очень короткую полосу потепления многим разрешили вернуться. Но многие, за свое дворянство, так и остались в ссылках и лагерях.

Это был первый, сказать бы – прикидочный взрыв открытых массовых репрессий. Бухарин, Рыков и прочие соратники Ленина были уничтожены через суд. Чего Сталин всегда панически боялся – это партийной оппозиции, и был здесь особенно беспощаден.

Если просуммировать то, что я в разное время в лагерях, узнал от хорошо информированных людей, то получается следующее: 1937 год был взрывом ярости Сталина, так как он начал подозревать что начинает терять контроль над страной. Люди немного распрямились, начали рассказывать анекдоты, смеяться, меньше обращать

внимание на присутствие Великого и Мудрого. Жизнь двигалась не по тем линиям, которые намечал Сталин, ибо не шли как надо или проваливались все его основные замыслы, в том числе сельское хозяйство, уровень и качество промышленной продукции, качество работы аппарата, борьба с бюрократией и коррупцией.

Не очень получалось и с руководством мировым коммунистическим движением. И как одно из следствий этого была произведена, пожалуй, 100-процентная репрессия левых политэмигрантов в СССР. До 1937г. была их в Москве пропасть, и жили они, против нас, непомерно богато; квартиры, распределители...

Не надо, впрочем, упускать из виду, что 1937 год был открытым взрывом, а обширные репрессии тянулись, пожалуй, уже с середины 20-х годов, с разной степенью интенсивности. Не раз видел я в лагерях людей, сидевших и с 1925, и с 1928 года, иногда с кратковременными выходами на волю, а иногда и без таких антрактов.

Я часто говорю здесь о событиях, о которых узнавал с чужих слов, но делаю это только если рассказчики были люди с прямой осведомленностью, и если их сведения перекрещивались и взаимно перекрывались.

Что еще о лагерных разговорах? Вот не раз шла речь о психологии и поведении человека в ожидании возможного ареста. Можно сказать, напр., что весной, летом, осенью 1937 года, да и первую половину зимы, опасалось ареста большинство мужского населения страны, и особенно городов. Интеллигенции – в первую очередь.

Каждый зек, из горожан, вспоминал одно и то же; чуткий сон ночами – проезжает машина, остановится или нет? – вот она остановилась у подъезда – шаги нескольких человек по лестнице – не дошли до моего этажа или, наоборот, протопали выше – камень с души, можно поспать, до и вообще, чего я боюсь, ведь я ни в чем не виновен.

Сегодняшнему человеку, молодому особенно, не хватит воображения представить себе тогдашнее положение, главная мерзость которого была, по моему, в том, что оно быстро стало привычным. Не вышел человек на работу, и ему бояться позвонить, все знают, что у каждого столько же шансов на арест как и на простуду. Приходишь в организацию по делу, нет на месте нужного сотрудника, и не решаешься о нем спросить; лучше поискать заместителя. И шуточки по этому поводу разные ходили, и анекдоты тоже. «А что, Иванов уехал на Волго-Дон? – нет, надолго вон».

Приспособились и жили, хоть и грыз страх каждого. Ведь и наиболее политически благополучные ни в чем не могли быть уверены. Вот такое время было.

Очень расцвело доноительство. Таким манером сводились счета. За политическим доносом неизбежно следовал арест, а иные пытались доносами создать себе репутацию бдительного, и таким путем защититься от репрессии; и подчас с успехом.

Невероятно распространилось стукачество. Людей вызывали на специальные явочные квартиры, чаще всего в определенный номер в какой-нибудь центральной гостинице, и обрабатывали – предлагали секретное сотрудничество, используя при этом и угрозы, и обещания разных благ, напр. продвижения по службе, квартиры, прикрепление к распределителям. Поддавались не все, но многие, И таких иной раз можно было определить и по почти неуловимым изменениям в поведении, а также по появлению у них пресловутых благ, вроде и не положенных им. Много просветил меня в этом отношении один старый чекист в бутырской камере, которого мне случилось чуток подкормить и снабдить куревом. По каким-то, неизвестным мне причинам он поставил на себе крест, как на чекисте, и говорил со мной совершенно свободно. Сказал он, между прочим, что в каждой, даже самой маленькой организации, секретными сотрудниками обязательно являются кадровик, начальник или по крайней мере его зам, секретарь, а часто и главбух.

В эту полосу, конца 30-х, мало осталось коммунальных квартир в Москве, а их тогда было, пожалуй, более 90% всего жилфонда, в которой никого бы не взяли. В наше, в которой жило 20 человек, я был третьим. Некоторые ведомственные дома, как старых большевиков или политкаторжан, опустошались на 80-100% и немедленно заселялись заново, обычно сотрудниками НКВД, Кремля и прочей элиты.

Люди сидели, как загипнотизированные и ждали, не пытаясь ничего предпринять, помня о своей невинности ни в чем. А после самой тяжелой полосы оказывалось, что иной раз было достаточно 1–2 перемен места, и человек временно выпадал из поля зрения органов, бывало что и спасался так. Вот и меня, спасибо сокращению на ГПЗ – и хоть в конце концов взяли, но уже не били, как годом раньше всех подряд. Я знал и несколько случаев такого сознательного перемещения, и в результате избежания неминуемого ареста, но это были единицы. Сказывалось много лет постоянного внушения веры в мудрость и справедливость Сталина и всеведение его непогрешимого НКВД, знающего все тайны о каждом.

Лагерная администрация

Что представляли собой люди, распоряжавшиеся зеками? В большинстве это были кадровые офицеры войск НКВД, обычно не выше капитана. Но было порядочно и вольнонаемных, главным образом технического персонала: прорабов, техноруков, снабженцев, счетных работников. В целом был это народ малообразованный и серый. На работу в лагеря попадали больше такие люди, которым не повезло в других областях из-за отсутствия специальности, нежелания учиться, неумения и лени трудиться. А в лагере всегда можно было подобрать таких зеков, чтобы и работали и думали за них. Часто можно было видеть, как теряется начальник и невысокого и высокого ранга, когда ему требуется проявить инициативу, пошевелить мозгами – он от этого безнадежно отвык. Много было среди них и людей низких, грабивших и обижавших зеков, и с особым удовольствием – если зек с образованием.

И все же существовал какой-то симбиоз, так как каждому начальнику некуда было податься без плановика, инженера, нарядчика, диспетчера – всё зеков. А он их за это подкармливал.

Они нас совершенно искренне считали людьми низшего сорта, как плантаторы негров. Причем это распространялось и на окрестное население. Встретит «комик» (коми-зырянин) незнакомого человека в лесу и спрашивает – «ты человек или заключенный?»

Разделение людей на высший и низший сорта было одним из тяжелых моральных последствий массовых репрессий. И как оно въелось в психику людей того времени, и так, еще живы остатки этого.

Прямой произвол в лагерях 20-х и начале 30-х годов, когда заключенных убивали запросто и безнаказанно истязали, в 40-е годы был в основном изжит. Тем не менее, при надлежащем оформлении, с зеком можно было сделать всё что угодно.

Был вот у нас старшина конвоя Гетман, человек уже не молодой, страшный садист, выраженный убийца. Несколько зеков собственноручно пристрелил, то и дело избивал кого-то до полусмерти. Будучи отличным службистом делал это со всей видимостью законности.

Очень его боялись и ненавидели. И вдруг – всеобщая радость: Гетмана берут в армию. И очень скоро, месяца через три, еще больший восторг в лагере – пришла на Гетмана похоронка!

Но надо сказать, что хоть и редко но встречались среди лагерного персонала честные и добрые люди. Таким был начальник 10 лагпункта, старый чекист, жаль не помню его фамилии. Справедливый и заботливый человек. Зеки звали его батей, очень уважали все, включая жулье, никогда не подводили. Во время большого голода у него смертность была на лагпункте гораздо ниже, чем в остальном лагере. Было известно, что он отдавал на зековскую кухню свои лично продукты.

Еще была одно время начальница КВЧ, добрейшая немолодая ткачиха, непонятно зачем попавшая на работу в лагерную систему. Она искренне жалела зеков. Помню, как со слезами отчитывала она меня, когда узнала из моей переписки, что я предложил жене не

ждать меня; она с интересом читала наши письма, причем не ради цензуры, а по человечеству, как она это понимала.

Бывали также человеческие отношения, вполне на равных, с вольнонаемными из эвакуированных, которых много появилось у нас в 1942 году. В большинстве были это киевские евреи. Пошли они на работу в лагерь, так как в Яр-Фосфоритном районе, куда их привезли, больше некуда было устроиться. В дальнейшем появилось у меня среди них много друзей – был я в то время уже расконвоирован, и даже в гостях у них бывал. Но такие контакты были небезопасны для обеих сторон, для зека в особенности, и приходилось быть крайне осторожным.

Довольно много вольных, в большинстве женщин из эвакуированных, работали в мастерских. Числились они чертежницами и т.п., но за них, конечно, работали мы. Отношения у нас были прекрасные, они всегда старались оказать нам мелкие услуги, такие для нас важные: отправить письмо мимо лагерной цензуры, достать почтитать что-нибудь, а другой раз и принести продуктов, продавши что-нибудь наше лагерное.

Иногда завязывались, со смертельным риском, и более близкие отношения у зека и вольнонаемной. При разоблачении зеку полагался штрафняк, женщине – изгнание в 24 часа из лагеря, исключение из комсомола, замаранная анкета. Но это всегда осуществлялось аккуратно, и на моей памяти разоблачений не случалось. А близость вольнонаемного мужчины с заключенной женщиной не имела последствий для них, хоть и не одобрялась.

Большой голод

Конец августа и сентябрь 1941 г. питание в лагере было еще терпимым, конечно, зеки всегда ходили полуголодными, а на общих работах и просто голодными, но в массе еще не деградировали, доходяг было мало. На тяжелых наружных работах и в наших мастерских выдавалось дополнительное питание: лишняя порция каши, лепешки и т.п. Для самых высоких категорий хлебная норма достигала 900 гр. Сколько помню, ИТР питались близко к высшей норме.

А с октября началось быстрое ухудшение. Постепенно отменили все добавки, баланда стала как вода, хлеб – как сырая глина.

В начале ноября пришли сильнейшие морозы, а с ними началась и массовая смертность зеков от голода, которая длилась ноябрь-декабрь 1941 и январь-февраль 1942 г. Мы всегда точно знали, сколько людей умерло за истекшие сутки. На нашем лагпункте это количество колебалось от 8 до 12 человек. Лагпункт насчитывал тогда около 800 человек, стало быть умирало не менее 1% в сутки.

Большой голод продолжался около 4 месяцев. Выходит, что вымер весь лагерь? Да, так оно и было. И вместе с тем население лагеря оставалось на прежнем уровне, а возможно и росло, так как почти ежедневно приходили новые этапы. Война войной, а репрессии – репрессиями. Зеки, работавшие на расчистке путей, рассказывали, что теперь приходили только товарные составы, что высаживали из них людей вперемешку с закоченевшими трупами, которых конвоиры вышвыривала из вагонов.

По рассказам зеков, прибывавшим из других лагерей, везде зимой 1941-42 гг. происходило примерно то же. Может быть кроме Норильска, Воркуты и некоторых промышленных лагерей, т.-е. там, где выдавалась особо важная продукция. Сколько помню по рассказам голодная смертность там тоже была, но не такая высокая.

Главное, что мне запомнилось об этой полосе, это крайняя унижительность этого ни на секунду не оставлявшего, злейшего ощущения пустоты в желудке. Казалось, что в нем иногда возникает некое отдельное существо, злобное и требовательное, очень было трудно заставлять себя не думать о дымящейся каше, шипящей яичнице. И чтобы не смотреть себе под ноги, а вдруг корка валяется. Был у нас слесарь, которому удалили две

трети желудка, он доходил одинаково со всеми, а голода не чувствовал. Подшучивал над нашими переживаниями, а мы ему завидовали.

У многих началась в декабре цинга, у меня тоже. Пошли на бедрах нарывы, в пятак величиной, поверхностные и безболезненные, само собой и кровь из десен. Нам с Борей Рехесом удалось достать за левую работу ящик картошки. Мы решили не верить, а съесть всем нам, четверым ИТР, по сырой картошке натошак – вспомнился Джек Лондон. И что же – помогло, и мне, и остальным. У тех цинга больше отозвалась на зубах.

И еще одно последствие голода; равнодушие к своей судьбе, и чужой тоже. Возможность завтра умереть нисколько не тревожила, Думалось – ведь жрать тоже перестанет тогда хотеться. Не трогали каждодневные смерти близких знакомых.

Голодной смерти часто предшествовал понос. У зеков считалось: если понос зеленый, то еще можно спастись, а если черный то конец, уже ничего не поможет. Но помощи всё равно ждать было неоткуда. Посылки стали поступать только в конце войны. Лагерная больница была бессильна против голода, так как больничных паек был гораздо ниже минимального рабочего.

Врачи имели строгий приказ, голодные смерти записывать в истории болезни как результат воспаления легких.

Как то вечером шли мы по зоне вдвоем с Рехесом. Мороз стоял за -40° , и как сейчас вижу – был потрясающий, черный с красным, полосатый закат. Проходим мимо бани – и не верим своим глазам: из дверей выходит совершенно голый, невероятно худой человек, сзади сплошь обгаженный. Не спеша, неверной походкой исчезает за углом. Это было что-то полностью бредовое. До сих пор помнится мне его тощий силуэт на фоне великолепного вечернего неба. Нетрудно было понять; это поносник, его выгнали из бани, потому что не удержался. А ему уже все равно, он и пошел себе, на верную смерть. На таком морозе голому для этого было достаточно три минуты. Я его больше не видел.

Почти каждый день умирали и в моем бараке, обычно ночью, бывало и до трех человек. Смотришь – утром не встает, но не до него – надо спешить за баландой.

Признаком опасной близости к концу была у зека «задница кошельком». Когда потеряны подкожные жиры то ягодички обвисают.

Изголодавшийся человек часто терял всякое соображение. Был случай; хлебную норму на мастерские мы получали вечером. Бригадиру в хлеборезке отсчитывали по списку хлебные пайки с прикрепленными деревянными кольшками довесками. Пайки складывались в большой ящик с ручками, который несли четыре человека. В тот вечер я был одним из них. И еще четверо ребят поздоровее шли с нами по сторонам, для охраны. В темных сенях барака притаился полусумасшедший доходяга, и когда мы проходили – схватил из ящика пайку и тут же вцепился в нее зубами. Попытка эта была заведомым самоубийством. Наша охрана тут же хлеб отняла, похватила сложенные в сенях поленья и принялась беспощадно избивать доходягу, открывши дверь в барак для света. Я никогда не думал, что человек от ударов по ребрам может звенеть как пустой деревянный бочонок. Потом оттащили его в барак, где он ночью умер. Никакого внимания этому случаю никто не уделил, вроде его и не было.

Каждый старался всеми способами раздобыть что-нибудь съестное. Можно было попытаться продать за зону что-нибудь из казенных вещей, но для этого нужны были связи с расконвоированными, которых у меня еще не было. За этим очень следили, да и получал от этого зек едва ли четвертую часть. Помнится, я все же два раза так скомбинировал, отдал, кажется, телогрейку, получил пустяки, тем более что талантов в этих делах у меня никогда не было. Прилаживались ловить сеткой воробьев на чердаках барачных, но сколько там было этой живности. Однажды в зону забежала служебная собака без проводника. Ее мигом убили, разделали, шкуру и голову бросили в очко уборной. Совсем с небольшим запозданием нагрянуло в зону множество охраны, но уже ничего не нашли. Было это незаурядное ЧП, так как обученный «бобик» – большая ценность. На

другой день в мастерской дали мне хлебнуть ложку супа из собачьего мяса. Вкус был отменный!

Ловили и ели крыс, но занимались этим лишь немногие. Уж очень гнусные были это твари, лагерные крысы. Они зимой жили и питались в уборных.

Когда доходяге удавалось достать сразу много еды, то если он не сдерживал себя и наедался – часто кончалось заворотом кишок. Оказывается у голодающего исчезает жир на шишках, перистальтика затрудняется, так как нет скольжения. И если кишки заполнились, то образуются на кишках узлы и начинается гангрена. Иногда такого удавалось спасти. были в санчасти неплохие хирурги из зеков и действовали они решительно, может и из-за сниженной ответственности врача в лагере. В самом деле, кто бы стал вникать в причины смерти на зека на операционном столе? Но чаще всего заворот кишок вел к смерти.

Женщины лучше переносили голод и меньше погибали. Но голодный психоз, возможно, бывал у них чаще. Любой мог увести женщину-доходягу, и она с ним ложилась. Этим всю пользовались повара, нарядчики, портные. Словом все те, кто не голодал. Такие женщины становились ко всему безразличными, теряли чувство реальности, жили как в полусне.

А у голодающего мужчины начисто пропадал интерес к противоположному полу. Помню это и по себе.

Как-то КВЧ устроила в клубе танцы – а был самый разгар большого голода. Зашел и я посмотреть. Тусклая лампочка, грязно, на полу лед. Играет баянист фокстрот – и оборванные доходяги пытаются танцевать! Еле-еле топчутся. Иногда какая-то пара от слабости валится на пол. С трудом встают, идиотски хихикают, а с ними и окружающие, на нормальный смех сил-то нет. Зрелище это было унижительное и абсурдное, и забыть его невозможно.

А что делали с умершими?

Трупы вывозились из зоны рано утром, до развода, расконвоированной похоронной командой. Иногда на запряженных лошадей сани, а иногда могильщикам приходилось самим тащить сани с трупами. Хоронили на пустыре вблизи зоны, в заранее отрытой большой яме, которая несколько дней постепенно заполнялась. Место захоронения никак не отмечалось. Существовало правило: при наличии вечной мерзлоты зарывать не глубже, чем на 0,7 метра, чтобы трупы могли разложиться и не оставаться на века, как колымский мамонт, для будущих археологов. В обычном грунте полагалось хоронить, сколько помню, на 1,2 метра. Не припоминаю, была ли у нас эта мерзлота. Похоронная бригада работала под начальством зека по фамилии Воору, эстонца, кажется учителя. Могильщики получали двойное питание, и не доходили. Но все они были постоянно в глубокой депрессии, почти не разговаривали ни с ком, и между собой тоже.

Узнали мы, что за зоной охранник пробивал каждому трупу грудь заостренным железным прутом, чтобы предотвратить попытки побега.

Не знаю, делалось ли так всегда и везде в лагерях, но в Вятлаге, в зиму и весну 1941-42 гг. это было совершенно точно; видели расконвоированные, уходившие из зоны до развода. О каком-то другом лагере было известно, что там разбивали трупам головы деревянной колотушкой, с той же целью.

Как я выжил?

Спасли меня мастерские. Провел зиму под крышей и получал относительно высокий ИТР-овский паек. Иногда удавалось и левую работу протолкнуть. Мы обслуживали не только лагерь, приезжали к нам и из окрестных сел, ремонтировать оборудование

мельниц, крупорушек, сепараторы и т.п. Плановик Рехес пускал заказ вне очереди, я тут же готовил эскизы, мастер срочно ставил детали на станок, токарь оставался на ночную смену – и появлялись кило-два крупы, мука, картошка, и честно делились. Может помогла мне выжить и стойкость к голоду, «запрограммированная» еще в 1918-20 гг. Тогда, помнится, подолгу не было еды у нас дома, кроме сухой манной каши и фруктового чая с сахаринном.

Конец большого голода

В марте-апреле 1942 г. питание стало понемногу улучшаться. Например прибыла железнодорожная цистерна хлопкового масла. Поскольку оказалось оно с явной примесью керосина или нефти, вольный персонал на него не позарился, и досталось оно целиком зекам. Привезли как-то большую партию испорченной воблы. Мы об этом узнали по страшной вони на всю зону. Выдали эту воблу щедро, по 2-3 штуки. Была она полуразложившаяся, когда снимешь шкуру – неказистая, шоколадного цвета с зелеными пятнами. И хоть бы один отравился! Сейчас я бы от одного запаха слег в больницу, а тогда съел свою долю с удовольствием и без последствий. А другой раз лагерь был потрясен тем, что появилась деликатесная селедка или «рваная шейка», и тоже выдали щедро, по 203. Но был это единственный случай за все мои 10 с чем-то лет лагерей.

Стали также готовить жидкие дрожжи, настоянные на сосновой хвое. Вкус у них был неприятный, но благодаря им цинга быстро пошла на убыль. Голодная смертность снизилась, хотя ни в какой мере не прекратилась; ведь у многих за зиму здоровье было непоправимо разрушено, психика тоже – а это было очень важно, удержаться мог только не впавший в депрессию и не потерявший над собой контроля человек.

Доходяг в зоне было по-прежнему полно. Толпы их, грязных и вялых, сидели под стенами бараков на весеннем солнце. Бессмысленно щипали они побеги зеленой травы и совали в рот. По-прежнему ежедневно прибывали в лагерь новые этапы, в большинстве состоявшие из жителей отбитых у немцев наших районов.

Новые мастерские

Весной 1942 г. Вятлаг получил приказ начать выпуск военной продукции: хвостовиков для мин. Прибыли станки, материла, инструмент, и на центральном 5-м лагпункте были созданы новые механические мастерские. Эту нехитрую задачу высшее лагерное начальство решало с волнением, с надрывом, с бесконечными совещаниями.

Сделали все дело, и очень просто, четверо зеков. Архитектор Власов в два счета спроектировал и построил большой барак под мастерские, крупный инженер Караульчиков, старик, спланировал и поставил на место станки, электрик подвел питание, ленинградец-технолог составил карты обработки, и в мае мастерские начали выпускать продукцию.

Большинство персонала из старых мастерских перевели на 5-й лагпункт, Линдберг побыл с нами недолго, дело его пересмотрели, приговор отменили и летом он уехал из лагеря. В новых мастерских мы как-то воспряли духом. Нас приодели, жилые бараки здесь были чище, зона благоустроеннее. А самое главное – работающим на спецзаказе прибавили питание, и мы все, рабочие и ИТР, быстро стали крепнуть. В хороших условиях человек после голода необыкновенно быстро восстанавливает силы. Был и еще плюс; работники мастерских меньше рисковали попасть на этап.

На центральном ОЛПе имелась большая санчасть с зубным кабинетом и даже рентгеном, обслуживающая также и вольных.

Лично мне стало тоже лучше жить, и даже намного. Должность моя – не помню сейчас, как называлась, но стал я фактически главным конструктором мастерских.

Работало у меня под началом трое или четверо инженеров, зеков, в их числе и Панин, и двое-трое девушек вольнонаемных, чертежниц, очень довольных тем, что имели у нас рабочие карточки. Мне повезло выполнить в мастерских несколько удачных работ по оснастке, и это укрепило мое положение. Пришлось также сделать резальные машины и механические сита для табачного цеха, изготавливавшего самосад из выращенного в лагере табака, который я, естественно, имел теперь в неограниченном количестве. Табак помог мне одеться и завести разные полезные знакомства.

Расконвоирование

Мне часто приходилось отучаться на другие лагпункты, чтобы снять на месте эскизы для какого-нибудь ремонта, договориться о работе, проследить за монтажом и т.п. Обычно отправлялся со мной конвоир, но учитывая мою легкую статью меня в конце концов расконвоировали летом 1942 г., т.е. выдали пропуск на свободный выход и вход через проходную зоны и свободное хождение в пределах лагеря, огромной территории. Это было колоссальное облегчение. Уже не требовалось выстаивать на разводе в любую погоду, можно было выкроить время поспать днем, в бараке, или спокойно пройтись за зоной, по воздуху.

Расконвоирование для политических разрешалось только при самой легкой статье, 58-10, и его аналогам по ОСО, так называемым «болтунам». Но вместе с тем, получив расконвоирование, я стал больше на виду у администрации. Не исключено, что это было одной из причин моих позднейших неприятностей. Да и со стороны своего же брата, зеков, чувствовал я не раз зависть и недоброжелательство из-за этой привилегии. Никто мне не верил, что я не занимаюсь торговлей за зоной, хоть я и старался держаться подальше от этих дел. Впрочем, чего уж тут, иногда помогал устраивать операции с казенным имуществом, по просьбе друзей...

Жизнь на центральном лагпункте

Зона здесь была гораздо чище. Ворота ОЛПа своей роскошью превышали ворота всех прочих ОЛПов лагеря. На них тоже имелась вычурная надпись – «Добро пожаловать». Около барачков были устроены клумбы с резедой – впрочем эта мода существовала на всех лагпунктах. Доходяг, однако, бродило в зоне более чем достаточно.

Здесь особенно чувствовалась главная особенность каждого лагеря: устоявшаяся рутина, отработана десятилетиями до такой степени, что уж почти не ощущалась, со всей своей абсурдностью, бесчеловечностью, нелепостью. И все шло так, будто иначе и быть не должно.

В зоне имелся ИТР-овский барак, в котором жила зековская элита. Задавали в нем том несколько старших специалистов: московский архитектор Власов, если только не путаю фамилию, и путейцы Жудин и Хворостинский. Были и другие, но их фамилий уже не припоминаю. Через месяц-полтора, когда ко мне пригляделись, я получил приглашение туда перебраться. Это, конечно, была честь. Попал я в условия относительной чистоты, стал спать на матрасе и простынях и меньше стал слышать бессмысленной матерщины вокруг. Появилось много интересных собеседников. ИТР-овцы имели отдельный банный день, отдельную стирку в лагерьной прачечной – где, кстати, в основном работали китайцы, бывшие московские прачки. Смог и заняться лечением пострадавших от цинги зубов. Появились знакомые, даже и друзья, среди вольнонаемных врачей. Помнится, была даже сделана попытка превратить меня в инвалида, с расчетом на списание из лагеря до срока: одно время были слухи о такой возможности. Была сделана фальшивая

рентгенограмма, из которой следовало, что у меня внутри все сгнило. Но никакого продолжения из этого не было.

Все же главным изменением моего лагерного уклада было появление интересной работы. Время стало проходить гораздо быстрее. Тем не менее каждый день казался длинным и тягучим. Парадоксальная особенность жизни в заключении: день длится долго, а время, в общей сумме, летит быстро. Не успеешь оглянуться – год уже позади, за ним второй, а там третий... Думается это вернейший признак тягчайшей, бесполезной утраты самых активных лет жизни.

Что до работы, то можно рассказать об одном своем успехе. Хвостовики для мин обсервировались у нас вручную, на небольших сверлилках, которых было в мастерских 10 или 15 штук. Стали они выходить из строя, ремонт не помогал, дело шло к срыву военной продукции, так как новых станков не предвиделось. Мне пришла в голову простая переделка, после которой станки заработали лучше новых. Тогда я не придавал этому большого значения, но много позже мне удалось узнать, что мастерские представили меня к снижению срока на 2 года. Это представление прошло все инстанции лагеря, включая визу начальника оперотдела, но из лагеря не успело уйти, так как вскоре тот же оперотдел арестовал меня по лагерному делу – о котором речь будет дальше.

Новые лица на 5 лагпункте

Одним из наиболее заметных ИТР-овцев среди зеков был главный архитектор лагеря, москвич Власов – если не путаю фамилии. Высокий, худой старик с непроницаемым лицом; такими мы представляем себе английских лордов. Я видел, и потом об этом расскажу, запроектированный и построенный им административный и жилой поселок для администрации – стоило посмотреть! Человек он был молчаливый, слова не вытянешь, но с великолепным чувством юмора. Просто не могу не рассказать об одном эпизоде. Был на лагпункте крупно проворовавшийся снабженец с большим сроком, очень глупый человек. Считал он себя полностью невиновным; а это, кстати, частое явление среди расхитителей госимущества, даже и умных. Он был твердо уверен, что его немедленно не освобождают только потому, что невнимательно читают его жалобы. Вот и решил он посоветоваться с Власовым, известным в лагере своим умом; как написать, чтобы обязательно прочли? Тот посоветовал – в стихах, и при условии строгой тайны продиктовал тому длинную поэму на имя Берии, начинающуюся словами:

Хоть с тобой я не знаком,
Но пишу тебе, нарком.

Снабженец отправил через вольных это произведение и стал спокойно ждать верного освобождения. Через месяц вызывает его начальник режима, синий от злости – я тебе покажу стихи! – и сажает на 10 суток. Только вылез он из кандея, ему еще 10, потом снова 10, всего вышел месяц. Еле он уцелел. Но еще [неразб] ему то, что все узнали, и не давали ему проходу. Где ни появится – кто-то начинает – «хоть с тобой я незнаком» и все подхватывают – «и пишу тебе, нарком». Конечно Власов и знать ничего не знал, лишь пожимал плечами. Долго этим наслаждались, зека хлебом не корми дай поржать.

Вспоминаю еще Жудина. По воле крупный инженер-путеец. Рослый, красивый и энергичный человек, лет под 40. Он ведал лагерным железнодорожным хозяйством, и жил, практически, как вольнонаемный. Мы его редко видели в зоне. Все знали о его связи с начальницей УРЧ лагеря, Таисьей Ивановной Титовой. Вот это была женщина! Фронтальная вдова, лет тридцати с небольшим. Очень интересная, отлично сложена, шикарно и со вкусом одета. Была она на две головы выше нашего серого начальства, с резким характером, хлесткая. Отличный работник, умница. С ней очень считались, да и не на шутку побаивались. Она хорошо знала о всех промахах и упущениях руководства, и то и дело устраивала неприятности кому-нибудь из администрации. Среди зеков она

выделяла тех, что помоложе и поинтеллигентнее, и не скрывала хорошее к ним отношение, пожалуй даже с определенной долей цинизма. Мне случалось подолгу разговаривать с ней о книгах, музыке и подобном, в ее кабинете, куда она меня вызывала под каким-нибудь предлогом. Бывали так у нее и Линдберг, и Панин. А с Жудиным она жила почти что открыто. Он часто ночевал в ее коттедже. Раз кто-то донес, и к ней ночью явились оперативники. Она им открыла дверь, в одной рубашке притом – и прогнала их: настаивать они не решились. Был случай, когда она выручила меня от этапа – а я уж был в списке на отправку: послала кого-то сказать мне, чтобы я срочно заболел. К тому времени у меня уже было знакомство с врачами, мне оформили высокую температуру и понос, а с этим в этап не брали. С хорошим чувством вспоминаю я Таисью Ивановну.

Этапы

Постоянное перемещение из лагеря в лагерь было частью быта зеков. Мало кому удавалось прожить на одном месте больше 2-3 лет. Раньше или позже каждый зек переселялся в другой лагерь, где все житейское устройство приходилось начинать сначала. Каждый старался избежать этапирования, еще и потому, что каждая поездка по этапу отнимала полжизни, была обильна опасностями, все равно что переплывать населенную крокодилами реку. Но отделаться от этапа можно было только при содействии сверху, как это несколько раз удавалось и мне. Блатные часто ранили себя умышленно, чтобы не принял этапный конвой, особенно те, у кого была в зоне любовь, и чаще женщины: воровки, проститутки... Была и техника отработана: бритвенным лезвием («мойкой») делались 2-3 длинные разреза поперек живота, с расчетом прорезать только кожу. Раны получались не опасные, но страшного вида. К тому же такая девица вся вымазывалась кровью, отчаянно вопила – какой уж тут этап. Между прочим, по этим шрамам в лагерных санчастях безошибочно узнавали воровок и проституток.

Спрашивается, а зачем были эти постоянные перемещения лагерников, хлопотные и дорогостоящие? Главной их целью было, конечно, постоянное напоминание зеку, что он – не у тещи на именинах. А может и видели в этом средство не давать сжиться и организоваться зекам.

Начальство

После переселения на центральный лагпункт мне пришлось чаще сталкиваться с разными лагерными руководителями. Начальником лагпункта был майор Абкин, сановитый мужчина с квадратной ухоженной бородой. Был он равнодушный, не въедливый, и особого вреда зекам не чинил. Молоденькая и веселая его дочка работала у нас в мастерских и была дружна с нами, зековской верхушкой. Вторым после Абкина лицом в зоне являлся главный нарядчик Морозовский, пользовавшийся у зеков огромным авторитетом, твердой рукой державший в подчинении шпану. Было ему лет 35, красивый еврей, с непроницаемым лицом. Всегда отлично одет в полувоенное, подтянут, немногословен, любовницей у него была молоденькая девочка, почти школьница. Каким-то чудом умудрялась она всегда быть свеженькой, хорошо причесанной. Прекрасно себя держала, – ну просто профессорская дочка, а она и была профессорской дочкой, но кроме того и состояла наводчицей в хорошо организованной московской банде. Морозовский отбывал срок за крупные хищения. Его положение в лагере явно основывалось не только на административных талантах – хотя они у него тоже были; со временем нам удалось узнать, в чем дело.

В мастерских мне иногда приходилось встречать начальника Вятлага Левинсона, была возможность и присмотреться к нему. Был это отвратительный человек, жестокий, глупый и надменный. Очень типичный чекист тех лет. Власть его в лагере была ничем не ограничена. Жил он в прекрасном особняке, располагал личным, оборудованным по его

вкусу, спальным вагоном для разъездов по лагерной ветке. Автомобиля, правда, у него не было из-за отсутствия в лагере дорог, но – как говорили – имелся персональный самолет У-2 с пилотом из зеков, бытовиком. Не говоря уж о шикарном конном выезде. Первое время после пуска мастерских, пока работа еще входила в ритм, он часто к нам являлся, со свитой: главным инженером лагеря, майором НКВД, а также с начальником планового отдела лагеря, в/н Гендлиным, иногда и с начальником оперотдела лагеря Шаровым. И проводил «совещания» с руководством мастерских, вольнонаемным и зековским. В числе последних иногда приходилось присутствовать и мне. Рассаживаемся за длинным столом в кабинете начальника мастерских, по рангам, зеки – в дальнем конце. Затем Левинсон не спеша извлекает свой знаменитый золотой портсигар. В нем отличный легкий табак, папиросная бумага – и маникюрные ножнички. Молча смотрим, как Левинсон отрезает этими ножничками аккуратный квадратик, скручивает сигарку, вставляет не торопясь в мундштук. Кто-нибудь из в/н услужливо щелкает зажигалкой. «Можете курить», цедит Левинсон.

Начинается совещание, на час-два. Своим жабым голосом Левинсон плетет безграмотную чушь. Мы все, в/н и з/к, услужливо поддакиваем. Потом, конечно, делаем всё по своему. Как-то явился он к нам вскоре после пуска мастерских. А в этот день был большой невыход зеков по болезни. Многие из нас в первое время маялись животом от внезапной прибавки питания. Мне случилось быть поблизости в этот момент; с презрением Левинсон процедил, со своим базарным акцентом: «пэ-рэ-ели?». Как раз тогда же доставили из зоны обед, и он пошел посмотреть. Увидел лепешки – установленную для спецзаказа добавку, и пожал плечами; «за-чэм столько хлэ-ба?». На другой день добавку сняли, впрочем ее снова для нас выбили военпред и в/н нач. мастерских Ханин. Этот наш Ханин, тощий старик за 60, был ранее мастером где-то в Донбассе и эвакуировался в Кировскую область с семьей. По манере был человек он резкий и грубый, крутой хозяин, матерщинник, но я его всегда вспоминаю добром за справедливость и человечность по отношению к зекам. Это от него исходило и представление меня на снижение срока, он, кстати, ни слова мне об этом не сказал и вообще крепко держал меня в субординации.

Из левинсоновской свиты хорошо помню начальника оперотдела Шарова. Долговязый, худой, всегда немного выпивши, с мутными глазами убийцы. Точно такими принято изображать гестаповцев в кинофильмах. Большой это был мертвец, в лагере его хорошо знали. К сожалению, меньше чем через год, мне, пришлось познакомиться с ним ближе.

Любопытнейшей личностью оказался начальник планового отдела лагеря Гендлин. Было ему под 50 незаметный и молчаливый человек. Прибыл он в лагерь с семьей, эвакуировавшись из Москвы в 1941г. Его 16-летний сын и 21-летняя дочь пошли работать к нам, в техбюро мастерских, и постепенно мы кое-что выяснили об их родителе. Оказалось, что до первой войны он участвовал в ревдвижении, и 19-летним юношей был выслан в этот же вятский край, в глухую деревню. Разагитировал сына старосты, украли - они двух лошадей, и проделали на них путь до Финляндии, чуть ли не тысячу верст. Затем Гендлин добрался до Германии и уехал в США. После обычных эмигрантских мытарств сумел окончить Колумбийский университет, стал журналистом, выпустил книгу о царской ссылке. Через несколько лет после революции приехал во Владивосток (тогда еще ДРВ), издавал газету, затем перебрался в Москву и занял важный пост в Госиздате. А весной 1928 или 29 г. случилось в Москве наводнение, и залило подвальный склад с особо ценными книгами, бывшими под ответственностью Гендлина. Получил он за это 8 не то 10 лет, отсидел срок почти целиком, благодаря этому не попал под ежовско-бериевские репрессии, и его дети это хорошо понимали.

В 1942 г. появилась в лагере старшая сестра Левинсона, Ева Соломоновна. Москвичка, инженер-исследователь в НИИ твердых сплавов, милая, добрая и высококультурная женщина, полный контраст брату. В 1941г. попала она под бомбежку в Москве, была ранена в голову и осталась частично парализованной. Она кем-то числилась у нас в

мастерских, но мы, зеки, работать ей не давали, всё делали за нее. Все её любили. Постепенно, по крохам, арестантской настойчивостью и терпением, выяснили мы у нее кое что о брате. Левинсоны – старая и разветвленная семья московских интеллигентов, из которой вышел ряд крупных научных работников. А Ной Соломонович рано бросил учение, очень вероятно что и не был к нему способен, связался с чекистской средой и смолоду пошел на работу в НКВД. В 30-х годах на чем-то крупно попался; точно мы не установили, но во всяком случае не по политическому делу. Был осужден – и оказался в одном лагере с Гендлиным и Морозовским. Незадолго до войны он освободился, вернулся в НКВД, получил назначение в Вятлаг. Очевидно у него были очень солидные связи, иначе не послали бы младшего лейтенанта командовать капитанами и майорами. Низкое военное звание объяснялось перерывом в стаже. В начале войны он эвакуировал к себе Гендлина, к тому времени уже освободившегося, вместе с семьей, и перевел в Вятлаг Морозовского, которому еще оставался порядочней срок. И обоих хорошо устроил.

Кто еще вспоминается по центральному лагпункту? Вот отбывал срок такой Михаил Якобсон, еще молодой, кандидат технических наук, по воле главинж горьковского завода фрезерных станков – очень, кстати, солидного предприятия в те годы. Был это человек высокомерный и недобрый, привыкший давить на людей и использовать их. Поначалу попытался он так жить и в лагере, но зеки раскусили его моментально. В заключении таких не любят. Нигде не мог он удержаться, отовсюду выжинали. Даже с работы кочегаром на силовой станции. К мастерским мы его и близко не подпустили.

Освободившись после войны, он защитил докторскую, был начальником отдела в ВИНТИ. Подчиненные ненавидели его за наглость и жадность. В числе его многочисленных совместительств было и редакторство в ВИНТИ. В 1957 г. он увидел меня на конференции референтов, узнал свидетеля своих лагерных неудач (я сразу это понял) – и немедленно принял меры, чтобы выжить меня из своей редакции.

А говорят о солидарности старых арестантов; ничего подобного нет. Ничего после лагеря не удерживается, за редкими исключениями. Ни крепкая лагерная дружба, ни завязавшаяся в лагере любовь. Ни даже ненависть, она теряет всю остроту.

Помню такого эстрадного композитора, Павла Русакова, он же Поль Марсель, русского из эмигрантской семьи, до войны переселившегося из Парижа в СССР. Говорил на с сильным французским акцентом («две чемоданы»). Композитором, кажется, был неплохим – о нем хорошо отзывался Шостакович, и я видел у него этот отзыв. До войны был в моде и часто исполнялся его романс «Любовь». В лагере он пристроился к эстраднему ансамблю и существовал вовсе даже неплохо. Рассказывали – освободившись был дирижером в ленинградском цирке, спился, умер.

Музыкантам в лагере вообще жилось хорошо. Всеобщим любимцем был руководитель ансамбля Лео (не помню фамилии), талантливый самоучка из жулья, отличный музыкант на нескольких инструментах, певец, плясун, эстрадный балагур. Очень носились с эстонской оперной певицей, вот тоже не помню короткой ее фамилии, прекрасное сопрано. Думаю, что кончила она срок не потерявши формы. Ей были созданы все для этого условия, так же, как по рассказам, и Руслановой на Воркуте.

Вспоминается и еще одна удивительная встреча. Как-то, будучи уже расконвоированным, отправился я по делу на дальний лагпункт. Пришлось там заночевать, и попал я в пустой барак, где кроме меня оказался только один зек, на верхних нарах, разговорчивый старичок под 70. Стал он меня расспрашивать, кто да что, откуда. Назвал свою фамилию, Серебровский, спросил и мою. А вы не родственник, спрашивает, доктора Юркевича, Иосифа Вячеславовича? Внук, говорю. Тут старичок в волнении слезает с нар. Оказывается, смолоду, много лет назад (дед умер в 1910 г.), служил он у деда в имении конторщиком, в селе Кривом на Житомирщине. Знал и моего отца, и мать, и всю семью отца. О деду отзывался он с великим уважением, восхищением и любовью – как, впрочем, и все, знавшие его. Очень сокрушался о моей судьбе, вот, дескать, дед сидел, отец сидел, мать сидела, а теперь и единственный потомок...

А дед и действительно был в 1900-х годах (дату не помню) арестован и несколько месяцев просидел в киевской Лукьяновской тюрьме. В вечер ареста он находился в квартире домоправительницы своего дома, Паньковская 8. По словам покойной Веры Владимировны Шпилевич, дочери домоправительницы, есть у меня и письменной ее рассказ об этом событии, явилась полиция с обыском к студентам, которым домоправительница сдавала у себя компоту. И у нее в комодке нашли гектограф, который те студенты, не спросив, ей положили, дед тут же указал, что это, строго запрещенное устройство принадлежит ему, и был арестован. Поскольку был он в Киеве лицо известное, и как врач, и как общественный деятель, то история эта последствий не имела.

Что до отца, Льва Иосифовича, то несмотря на свое дворянство был он всю жизнь профессиональным революционером, принадлежал к левой фракции украинских социал-демократов и арестовывался не раз. В той же киевской Лукьяновке познакомился он с моей матерью, Марией Петровой Беляковой, и после освобождения они в 1906 г. поженились.

В 1929–1930 гг. и мне довелось провести в той же Лукьяновке 9 месяцев, даже в том же следственном корпусе что и родители. Но об этом я рассказал в другом разделе своих воспоминаний.

В мастерских центрального лагпункта я проработал до марта 1943 г., затем в моем положении произошла крутая перемет. До того как я к этому перейду, расскажу о Вятлаге, что помню еще.

Окрестности лагеря

Места это были великолепные. Сразу же за заной на чинился смешанный лес, густейший, дремучий, труднопроходимой, населенный всяким зверьем, обильный ягодами и грибами, тянувшийся во все стороны на сотни километров. Разрабатывались только участки чистого сосняка, остальной массив тогда еще не трогали. Множество было рек, озер, ручьев. В лесах были разбросаны редкие деревни, населенные, вперемежку, русскими и коми; последние, получили в лагерях прозвание – комики. В те времена многие лесные жители еще не видели ни паровоза, ни автомобиля. Малолюдные и непроходимые были эти леса. Случалось, что беглецы из лагеря жили целое лето в 3-5 километрах от своей зоны, питаясь грибами и ягодами, строили себе шалаши, убедившись, что в тайге далеко не уйдешь. Иногда на них случайно натыкались патрули охраны или даже вольнонаемные грибники. При поимке беглеца процедура всегда была одинакова. Для начала его нещадно избивала охрана, срывая злость за утрату премии. Затем его ставили, окровавленного, на разводе у ворот, в назидание прочим. Если дело происходило зимой то бывало, что полураздетый беглец и замерзал при этом до смерти.

За побег давали дополнительно 10 лет. Некоторые из шпаны, особенно цыгане, умудрялись бегать и по несколько раз. Вообще из цыган, которых было много во всех лагерях, получались плохие зеки. Ни работы с них, ни дисциплины, и только одна цель: удрать любой ценой.

Еще о вятских местах; в жизни не видел я таких необыкновенных закатов, круглый год, но особенно зимой, в сильные морозы. Бывало и северное сияние, но сказать бы – зачаточное, так, вроде отблеска электросварки за горизонтом. Еще вот осенние краски леса были роскошные, тоже нигде таких не встречал, сплошное буйство.

Вспоминается одна особенность зимнего неба над вятскими лесами. Горизонт всегда окружала темная полоса, казалось, что издали со всех сторон собираются грозовые тучи. Многим зекам это зрелище страшно давило на нервы. Говорили, что это отсвечивает на облаках темный лесной массив, но в сибирской тайге я такого не видел.

Было в лесах и множество болот, соответственно и масс мошкары и комаров, очень мучивших зеков на лесоповале. В зону, впрочем, они не залетали, не тот был воздух.

Можно вспомнить и об управленческом поселке. Назывался он Поселок Энтузиастов, и располагался в километре от центрального лагпункта. Была в этом поселке большая квадратная площадь, окруженная прекрасными брусчатыми домами: огромным двухэтажным корпусом управления лагеря и коттеджами высшего начальства. Все здания были отлично сработаны, украшены резьбой. В управлении имелся шикарный холл с широкой лестницей на второй этаж. В кабинетах стояла уникальная березовая художественная мебель с львиными мордами и прочими излишествами. Стены были покрыты лакированными панелями. Там много потрудились краснодеревцы и художники из зеков.

В центре площади стояла скульптура, тоже зековской работы, на высоком постаменте: приподнимающийся с колен охранник одной рукой хватается за наган, другой – отпускает ошейник готовящегося к прыжку «бобика». Так сказать символ лагерной системы. Кругом скульптуры были разбиты цветники. Недалеко от площади располагался ряд коттеджей и многоквартирных домов менее важного вольнонаемного персонала, хорошо построенных и удобных. Обслуга поселка – уборщики, повара и т.п. – состояли из зеков, бытовиков с легкими статьями.

Здоровье зеков

В целом было оно весьма неважным. Шпана, в большинстве своем, народ болезненный. Часто из-за наследственности, ведь многие из жулья были детьми нищих родителей. Сказывались профессиональные вредности. Полжизни по тюрьмам, пересылкам, лагерям, другая половина – бездомное существование, частые голодовки, пьянство, венерические болезни. Избиения при всыпе и при следствии. Правда, встречались среди них и несокрушимые здоровяки и силачи, особенно среди убийц, иной раз совершенно звероподобные. Но таких было очень мало.

Политические тоже не блистали здоровьем. Проходившие следствие в 1937-38 гг. все – за очень малыми исключениями – подвергались избиениям и пыткам. И прибывали они в лагерь с подорванной нервной системой, а бывало и с отбитыми внутренностями.

Лагерная санчасть вечерами всегда переполнялась зеками, пытавшимися получить освобождение на следующий день. Чаще всего приходили с простудой, сердечной слабостью, травмами на работе, зимой – с обморожениями. Умирали больше от общего истощения или воспаления легких. Если не считать голодного поноса, то желудком болели редко. Мне не раз приходилось встречать зеков, у которых в лагере проходила застарелая язва или гастрит, дело было в пище почти без жиров и пресной, без мяса, без спиртного. Бывало, что исчезала и подагра, зато легко наживался радикулит, ревматизм. Пока не завели дрожжи у большинства был авитаминоз – ломкие волосы и ногти, шелушение кожи, а в голодовку, как уже говорил, и цинга. Инфекционных болезней, напр. тифов, дизентерии, в лагерях почти не было. Надо впрочем сказать, что за этим очень следили. Психические больные бывали, но пожалуй меньше, чем можно было бы ожидать. На одном из лагпунктов, где я бывал по делам, имелся сумасшедший дом, страшный барак с маленькими зарешеченными окнами, из которых были слышны дикие вопли. Никто и не помышлял о том, чтобы, по закону, вместо лагеря передать их в больницы.

Врачи говорили, что процент самоубийств был в лагере гораздо ниже, чем на воле.

Для инвалидов – безногих, безруких, слепых, парализованных существовала специальная инвалидная подкомандировка. Там они выполняли посильную работу, но по этой работе их и кормили. Жизнь у них была жалкая и страшная. Часть инвалидов использовалась в качестве дневальных в жилых бараках, но таких мест было мало, да и не все инвалиды были в силах выполнять эту работу.

Но все же можно сказать, что человек, отбивши в лагере (не режимном) 8 или 10 лет, мог при везении выйти оттуда живым и относительно здоровым. При условии, что ему не

повредили внутренностей на следствии, не был на общих работах, следил за собой, не падал духом, не распускался. Но, конечно, на самом первом месте здесь везение.

Мастырки

На тему о мастырках можно бы написать медицинский трактат, и очень жаль, если об этом не подумал кто либо из отбывавших срок врачей. Что же такое мастырка? Если зек, надрываясь на общих работах, видел что больше не выдержит и скоро ему конец – то часто случалось, что он «замастыривал», т.-е. умышленно причинял вред своему здоровью, чтобы сделать себя нетрудоспособным. Самым примитивным было самокалечение. Рубили себе пальцы, чаще мизинец или указательный на левой руке, бывали случаи что и сразу все четыре пальца. Иногда разрубали себе топором ступню или голень. Так поступали от крайнего отчаяния, импульсивно. И хотя при этом обеспечивалось 2 или 3 месяца освобождения от работы, но оперотдел неизбежно заводил лагерное дело, и зек получал вторую судимость и дополнительный срок. Поэтому чаще устраивалась мастырка. Их существовало великое множество. Самым простым было – побольше пить воды с солью. Через короткое время человек сильно опухал, и его клали с водянкой в санчасть. Водянка была обычной вещью при недоедании, и вроде бы дело чистое. Но лагерные врачи наловчились распознавать искусственные отеки, и в этих случаях ставился зеку ультиматум: либо через 3 дня отеков не будет, либо дело передается оперу. И водянка проходила. Делали еще так: протягивали иголку с грязной ниткой под кожей на бедре или икре. Возникла длительная гнилая язва, которую постоянно подновляли. Можно было и так: собрать иглой белый налет у себя на зубах – зубы мало кто чистил – и втереть в ранку от этой же иглы. Заражение получалось сильнейшее, иногда возникала флегмона.

Был и еще один удивительный способ. Нужно было прокусить себе во рту слизистую оболочку внутри нижней губы, и затем тужиться, вдуть туда воздух. В результате ткани шеи постепенно наполнялись воздухом, и шея раздувалась так, что становилась толще головы. Тоже обеспечено освобождение от работы, но если врач знает этот трюк – то и неприятности. Медики говорили, что такая мастырка может привести к эмболии и быстрой смерти.

А один прием просто восхитил меня своим остроумием. Можно ли умышленно отморозить себе пальцы в теплом бараке? Оказывается – да. Набирается в котелок снег, примешивается туда соль. Зек забирается на нары, накрывается бушлатом, прячет под ним котелок и сует туда пальцы. Терпит полчаса – и готово отличное обморожение, обеспечено несколько дней отдыха, и при этом никаких подозрений.

Еще были разнообразные способы устроить себе острый понос, набить температуру, но конечно всех мастырок уже не помню. Вот только припоминается, как блатные два раза сыпали себе в глаза порошок, настроганный из химического карандаша. В одном случае была частичная, в другом – полная потеря зрения. Надо сказать, что блатные сплошь да рядом не жалеют и себя, так же как не жалеют и других.

Конечно, любая мастырка отражалось на здоровье. Особенно вредила вода с солью. От этого, говорили врачи, сильно разрушались почки и портилось сердце.

В большей или меньшей степени опасность мастырок была понятна каждому зеку, и можно представить себе обстоятельства, толкавшие людей на такие вещи.

Экономика лагерей

Все же была или нет государству польза от лагерей? Вопрос этот часто обсуждался среди нас, зеков, да и «на воле» часто бывали об этом споры, уже и после ликвидации

массовых лагерей. В заключении я не раз встречал знающих экономистов, научных работников в области народного хозяйства, бывало, что приходилось выслушивать где-нибудь в углу на нарах, за сигаркой самосада, вдумчивый анализ лагерной экономики. Рабский труд, говорили эти специалисты, никогда не был экономически выгоден, оправдывается это и в лагерях. Производительность зека – заведомо меньше половины производительности свободного человека. Плюс огромные расходы на охрану и режим, плюс бездарная и неумелая организация труда, плюс естественное стремление подневольного человека сделать как можно меньше и как можно хуже.

Экономисты считали, что ту же работу могла бы выполнять третья – если не меньшая – часть лагерного населения, будучи свободной, сытой, нормально оплачиваемой и хорошо организованной.

Можно бы сказать; но все же Север и Сибирь осваиваются и обживаются. Да, но как и какой ценой? Сколько арестантских трудов и жизней пропало впустую в гибельных лагерях БАМа, а потом всё делалось заново.

Труд заключенных всегда был ручным. лагерная администрация не понимала технику и боялась ее. Земляные работы выполнялись лопатой и точкой, даже такие огромные как каналы. Лесоразработки велись вручную, включая и трелевку (вывозку бревен из лесу). Зеки впрягались в лямки и таскали стволы, так как лошадей в лагерях всегда было очень мало, а зеков – много.

После лагерных лесоразработок оставались бестолково, хищнически вырубленные, захламленные пространства и огромные, гниющие не вывезенные штабеля леса. Все это я видел в Вятлаге, когда был расконвоирован. Участки повала сплошь и рядом выбирались по глупому, дорога до склада оказывалась слишком далекой, либо ее даже вообще нельзя было проложить, либо не хватало транспорта для вывозки.

Место под лагпункты выбирались из расчета на удобство охраны зеков, а не на нормальную жизнь людей в будущем. Лично у меня нет сомнения, что после ликвидации лагерей придется во многих случаях заново осваивать те же районы.

Окупали ли себя лагеря? Экономисты утверждали: нет, не окупали и поглощали огромные средства из государственного бюджета.

Система лагерей создавалась не ради освоения отделенных районов, а для изоляции больших масс людей, подозреваемых в том, что они могли бы оказаться возможными противниками Сталина. И естественно, что экономика при этом всегда была на втором месте, и вероятно на десятом месте находилось «перевоспитание» зеков. К политическим это понятие вообще не прилагалось. Что до шпаны, то возможность ее перевоспитания руководство лагерей всерьез не принимало и не морочило себе этим голову. Пожалуй что и с полным основанием, ввиду явной безнадежности. КВЧ осуществляла подобие клубной работы, и не более того.

Но у лагерной системы был один великий плюс. Можно было в любой момент перебросить в любую точку любое количество людей, не заботясь о подготовке условий, и немедленно начать работу.

Как возник Норильск? Рассказывали старые норильчане – выгрузили зеков из баржей на голый берег, поставили палатки. В них провели они первую зиму, во время которой строили производственные здания, зону для себя, соорудили первую шахту, жилье для вольного персонала. В этот период была там огромная смертность. Такое же начало было и на Воркуте, и на Колыме.

Горнодобывающие лагеря строились солиднее и, бывало, давали начало промышленным районам, но всё той же ценой: бесчисленных жизней и огромных трудовпотерь.

Есть такое лагерное словечко: туфта. Оно означало очковтирательство, обман, приписки выработки. В лагерях действовали общесоюзные нормы, которые голодному зеку были, понятно, не под силу. Надо вспомнить о постоянном повышении норм перед войной, в результате чего многие из них достигли абсурдных размеров. Невыработка

нормы зеком означала уменьшение пайка, зек слабел и еще больше терял трудоспособность. Поэтому на общих работах туфта была единственным выходом. Самому глупому начальнику было ясно, что без приписок план сорвется, так как зеки попросту перемрут. И поговорка такая была: «без туфты и аммонала не построили бы ни одного канала».

Вспоминается рассказ зека, инженера, бывшего членом комиссии по инвентаризации леса на складах после ликвидации какого-то лагеря. По отчетности должно было быть 12 милл. кубометров, но сколько они не прочесывали район работ, нашлось лишь 9 милл. Не говоря уж о том, что в местах, непригодных для вывозки, плюс к тому и наполовину сгнившего.

Возвращаясь к экономике можно в целом сказать: от гигантской системы лагерей был только явный вред. К нему в первую очередь относится огромное и безвозвратное поглощение лагерями трудоспособных и квалифицированных людей. Особый вред и непоправимый урон нанесло исчезновение больших масс интеллигенции, первоклассных научных и инженерных сил, высших военных специалистов. От лагерей идет и общее оподление, безразличие и леность.

Лагерное дело

А что это такое – лагерные дела?

О лагерных делах и лагерных судимостях получил я полную информацию еще в Бутырке, от бывалых зеков. Такие дела заводились оперотделами лагпунктов, чаще по доносам стукачей из зеков, активность которых поощрялась разными мелкими льготами: облегчением работы, дополнительным пайком и т. п. В лагере ничего долго нельзя утаить, стукачей быстро расшифровывали и всячески их избегали. Но это мало помогало. Чего стукач не слышал то сочинял, а опер не интересовался достоверностью данных, нужное ему признание он выколачивал. Количество заведенных на зеков дел целиком зависело от активности оперчасти. В Вятлаге оно была довольно ленивой, и лагерные сроки получало у нас, вероятно, не более 15-20% арестантов.

В большинстве лагерные дела были политическим, за действительные, а чаще всего – мнимые высказывания. В меньшей части – за комбинации с лагерным имуществом. Поскольку дела о спекуляции были всегда связаны с надзирателями и вольнонаемными, то их заводили редко.

Рассказывали в Бутырке об одном уральском лагере, где был особо злостный начальник оперчасти, и лагерные сроки имели там больше половины зеков. И еще рассказывал, тоже в Бутырке, один зек, прибывший из северного лагеря, название которого сейчас не помню.

У них лагерные дела в 1937-38гг. проходили следующим образом: группа оперотдельцев ходила по баракам и забирала зеков, когда по доносу, а когда и просто так, на глаз. После допроса с избиением зек признавался виновным и приговаривался к смерти. Приговор осуществлялся немедленно. Палачом был у них бандит с большим сроком, убивавший осужденного дубиной по голове, с одного удара. Когда эта практика была кем-то отменена, то палача оперотдельцы пристрелили. По словам того рассказчика, все они остались на своих должностях.

В лагерях попадались среди зеков полные молчаливники, которые опасаясь провокации ни с кем не разговаривали. Таких было очень мало. Большинство не морочило себе этим голову. Зеку всегда было присуще нежелание задумываться о завтрашнем дне, ввиду полной бесполезности такого занятия.

Лагерные дела рассматривало ОСО, обычно дававшее 5 или 8 лет, срок по новому решению считался с момента заведения дела. Получивший второй срок зек чаще всего этапировался в другой лагерь.

Меня забирают

Это случилось в конце марта 1943 года, а мастерских было у меня какое-то срочное дело, и я там остался после первой смены. Смотрю – появляется Шаров с двумя оперативниками. Не спеша прошелся по техотделу, остановился около меня. Спрашивает фамилию, я отвечаю. Оперативник вываливает содержимое из ящиков моего стола. Я понял, что меня сейчас заберут. Почувствовал, что обливаюсь холодным потом. Хватил меня первый в жизни сердечный приступ и я сел, как мешок. Оперативник поднял меня за шиворот, толкнул в спину и повел в зону, отстегнув кобуру нагана; Был морозный вечер с массой звезд, всю дорогу материл меня провожатый, так как шел я медленно и с трудом.

Следственный изолятор

В нашей зоне было два изолятора: штрафной и следственный. Из них первый был попросту карцером, занимал часть обычного барака, имел решетки на окнах, и попадали туда за разные мелкие лагерные прегрешения. Такие карцеры («кандеи») были на каждом лагпункте. Следственный изолятор на управленческом лагпункте был один на весь лагерь. Был он обнесен высоким глухим забором с тремя рядами колючки поверху; зона в зоне. Теперь мне предстояло узнать, что там внутри.

Охранник постучал в массивную калитку, открылся глазок, нас впустили.

Изолятор оказался солидным бревенчатым строением с маленькими окошками под крышей, забранными деревянными козырьками. Заходим в коридор. Принимают нас двое надзирателей. Оба в летах, звание – сержанты. Производится шмон, забирается ремень, записываются личные данные. Это сопровождается злобной матерщиной и толчками.

В коридоре восемь обитых железом дверей с форточками и глазками. Одну из них открывают и я туда вхожу.

Камера

«Здравствуйте, товарищи!» С интересом смотрят на меня пятеро зек. Обросшие, грязные, серолицые. Камера – метров шесть квадратных. Бревенчатые стены, зарешеченное окошко под потолком. На высоте груди сплошные нары, на них может спать пятеро. Мне поначалу, находится место под нарами. У дверей пороша и полочка с ведром воды и кружкой. Над дверью зарешеченное окошко с лампой.

Все ко мне с вопросами – что нового на воле? Имеется в виду – в зоне. Ничего себе, зона здесь – это воля! К общему восторгу выяснилось, что у меня полный кисет самосада. Закурили мы, рассказал я, что в зоне, что на фронтах; они все сидели уже по много недель, в строгой изоляции. Расспросил об условиях. Хлебный паек 350 грамм, из которых 15 грамм вычитается на дрожжи. Утром баланда, днем баланда, каша и дрожжи, вечером кипятки. Как я на другой день убедился порции были кошачьи, баланда снятая, одна вода. Раз в день прогулка 20 минут, раз в месяц баня. Режим не хуже лубянского. Понял я, что влип крепко, и с тем лег спать.

Первый допрос

Сколько помню устроил мне следователь выдержку 3-4 дня до первого допроса. Прием этот был мне уже знаком. Конечно, ломал я себе голову, в чем же дело. Решил; нарушения режима. Их у меня хватало, больше по мелочам. Но вот чего я по настоящему боялся, это обнаружения моих близких отношений с одной вольнонаемной сотрудницей.

Наконец, ведут меня в оперотдел, в кабинет зам. начальника оперчасти капитана Курбатова. До той поры я его еще не встречал. Оказался он толстячком небольшого роста, лет под 50. Щеголеват. Белоснежные волосы, маленькие руки и ноги, начищенные сапожки. Розовое добродушное лицо. Но по Лубянке я уже знал цену подобным добрым дядюшкам и был готов ко всему – кроме того, что от него услышал. Говорит мне Курбатов, слегка заикаясь: «з/к Ю., вы обвиняетесь в подготовке восстания в лагере, захвата оружия у охраны, группового побега с целью перехода на сторону врага».

И тут я непроизвольно грохнул хохотом, вернее просто заржал. Что за бред! Особенно «переход на сторону врага» если ближайший, финский, фронт около 1000 километров от Вятлага. Почувствовал и огромное облегчение, что речь идет не о связях с вольными. Все это показалось мне таким вздором, что в тот момент ничуть не испугало.

Курбатов очень обиделся. Из розового превратился в пунцового, глаза стали гадючьими. «Н-ну п-подожди, б..., ты у меня п-посмеешься!». Составил коротенький и не слишком грамотный протокол о предъявлении обвинения и моем отказе признать себя виновным, и отправил меня обратно в изолятор.

В камере стал я спокойнее обдумывать положение, и понял что хорошего мало. Судя по обвинению дело групповое. Я еще не знал, кто в этой группе. Но как выбивают показания мне было хорошо известно. Ясно, что однопольцы могут навешать на меня всё что угодно. Выход был лишь один; держаться и отрицать, что бы со мной не делали.

Не стоит подробно рассказывать об этом следствии. Курбатов оказался глупым, самодовольным, медленно соображающим человеком. То и дело он сам себя путал, забывал о чем прошлый раз говорил. Отговариваться мне было нетрудно, тем более что обвинение ничем конкретным не было поддержано. Плюс к тому был он ленив, и ему не хватало терпения на длинные силовые допросы в лубянском духе. А может он и учитывал, что как бы не прошло следствие, результат был обеспечен: решение ОСО о втором сроке и галочка в его пользу.

Приемы у него были однообразные. Либо – «а вот такой-то на тебя показывает то и это», либо попытка выбить меня из равновесия отчаянным лагерным матом и обидными прозвищами. По части разнообразия матерщины ему мог бы позавидовать любой рецидивист.

Неприятно было, когда на допрос приходил Шаров, упирался в меня мутными глазами и угрожал расстрелом – «время-то военное!». Зная обстановку в лагере я понимал, что это не такая уж и пустая угроза. Но ему быстро это надоедало.

То и дело удавалось мне переводить с Курбатовым разговор на всякие басни и анекдоты. Он оказался на это падок, так время и проходило. Пока не вспоминал он об обеде – своем, конечно.

Всего допросов было у меня 7 или 9. Обвинение быстро съехало только на то, что я, якобы, вел пораженческие разговоры, а также знал, но не донес, о подготовке побега Сучковым с Паниным. Первое я нечисто отрицал, притом с основанием; таких разговоров ни я, ни окружающие меня, не вели. Второе я конечно, тоже отрицал, но сказать по правде кое-какие подозрения у меня были, кое-что я и замечал, хотя ни Сучков, а ни Панин ни слова об этом мне не говорили. Замысел их был не умнее, чем план побега к индейцам в Америку у Монтигомо Ястребиного Когтя. До сих пор не пойму, как мог это затевать такой умница, как Сучков. Во всяком случае им обоим следовало бы вспоминать всю оставшуюся жизнь добром Курбатова за то, что помешал осуществлению их мечтаний и этим их спас.

Курбатов дерется

На третьем или четвертом допросе произошел один эпизод. Курбатов иногда расхаживал по кабинету, заложил руки за спину. Ходил вот так, ходил, и вдруг ко мне, без связи с предыдущим разговором – «где склад оружия?». Я даже опешил; какого оружия? Перекосилось у Курбатова лицо, и начал он, не вынимая рук из-за спины, бить меня подошвами сапог по голеникам. Больно не было, страшно – тоже не было. В удивлении поднял я на него глаза, встретились наши взгляды – и он перестал брыкаться, отошел и сел за стол. Помолчал, не глядя на меня, и снова о пораженческой агитации. Станным мне показался этот случай, и запомнился. Больше такого не повторялось. Но мне стала совершенно понятна степень страха по отношению к зекам, ненависти и непонимания со стороны тех низких людей, что распорядились нашими судьбами.

Я наболтал лишнего

По возвращении кого-нибудь из нас с допроса сокамерники его детально расспрашивали. Это было наше главное развлечение, да и источник информации тоже. Однажды так же вот рассказывал я о своем допросе, и высказался в таком роде, что вот на Лубянке действительно были следователи, а здесь что, деревенщина.

На другой же день один сокамерник, будучи на допросе, об этом донес. Я сразу это понял, когда меня вызвали следующий раз, уж по одной мине Курбатова. «Так значит на Лубянке лучше работают?» – говорит он мне. «Ничего, мы тебе и здесь сделаем». А меня тут еще дернуло привести украинскую поговорку – «не лякайте дівку великим х..., бо вона бачила більше». И после допроса надзиратель отвел меня на сутки в строгий кандей, т.-е. в карцер.

Кандей

Он оказался маленьким темным чуланом. Из обстановки только параша. На улице еще лежал снег, и в неотопливаемом кандее было вероятно, не более +5-8⁰. Оставили меня только в легких брюках и гимнастерке, ботинки сняли. Когда надзиратель закрыл дверь, я оказался в полной темноте. Скоро я застыл до костей, никакая гимнастика не помогала. Потерялось и понятие о времени. Долго я искал положение чтобы как можно меньше терять тепло, наконец нашел; нужно было лежать на спине, поджавши колени к животу и охвативши их руками. Ни есть, ни пить эти сутки мне не давали. Так и нашел меня лежащим надзиратель, отmaterил и повел в конторку изолятора. А там ждал меня Курбатов. Говорит он мне со своей добродушной улыбкой; «Ну к-как самочувствие, и?». И тут я сорвался, в первый и последний раз на следствии. Сказал, что скорее к е...м... подохну чем стану оговаривать себя и других. Помню как плохо двигались задеревеневшие губы. Курбатов удивился и вроде даже развеселился, «И-ишь ты! Скажите п-пожалуйста!» и отправил меня в камеру.

Эти сутки, удивительным образом, обошлись мне без воспаления легких. Здоровье тогда было еще хорошее, может и нервное напряжение помогло.

Однодельцы

В тюрьме при самой строгой изоляции всегда найдутся способы кое-что разузнать. Так удалось и мне выяснить, что дело действительно групповое, и в группе этой 29 человек. Из них я знал не более десяти. В их числе Сучков, Панин, Рехес, Кунович, Пангошкин, Лисицкий...

На третьем или четвертом допросе предъявляет мне Курбатов многословные показания Панина. В них говорилось, что я «прекрасно знал» о планах побега, обсуждал их с Сучковым и Паниным хоть и «не одобрял», а также что я был убежденным пораженцем.

Уже одних этих показаний было вполне достаточно для срока по ОСО, хоть мое отрицание этих показаний было занесено в протокол. Похожие показания дал на меня и другой «одноделец», некий Салмин, прораб наших мастерских. В обоих случаях в протоколах явно вылезал наружу стиль самого Курбатова, не очень грамотного человека. Мне было совершенно ясно, что это писалось или под его диктовку, или с его поправками на каждой фразе.

Ни разу не были мне предъявлены показания Рехеса и Куновича. В дальнейшем выяснилось, что предъявлять было нечего. Они держались твердо, виновными себя не признали, никого не оговорили. Это знаю не столько от них, как от сотрудника прокуратуры СССР в 1956 г., когда оформлялась моя реабилитация. Хорошо и Лисицкий держался.

Очная ставка

На 5 или 6 допросе устраивает мне Курбатов очную ставку с Сучковым. И тот, с некоторым даже сокрушением, заявил, что да, Ю. знал о подготовке побега, и где продукты спрятаны знал, и пораженческие разговоры вел...

Я отрицал всё это довольно спокойно, хоть раз и назвал Сучкова «этой сучкой». Здесь Курбатов меня оборвал, притом так резко, что я тут же понял: у него с Сучковым есть и еще какие-то свои отношения.

Снова кандей

После очной ставки мы с Сучковым долго молча сидели в прихожей оперотдела. Наконец вышел Курбатов, ничуть перед мной не скрываясь дал Сучкову большую хлебную пайку и что-то сказал охраннику. Тот доставил нас в изолятор, там Сучкова отвели в камеру, а меня – в знакомый уже кандей. На этот раз, правда, одетого, зато на 5 суток, на 250 грамм хлеба и воду. За что, я так и не понял, возможно за «сучку».

Сучков, Панин и другие

С Сучковым я был дружен еще в Бутырке, в лагере тоже были у нас наилучшие отношения. Поэтому мне трудно было принять факты, но – пришлось. Попавши в эту историю Сучков, человек умнейший, дальновидный и как оказалось – достаточно беспринципный, решил спастись за счет кого и чего угодно. В дальнейших наших разговорах, ему, по его словам, пришлось подтвердить показания Панина, расколовшегося «до самой ж...». Затем, так я думаю, он решил задать Курбатову направление следствия. Судя по приговору, о котором после, это получилось, хоть Курбатов и продержал его в изоляторе столько же, сколько и меня, и прочих однодельцев.

О Сучкове еще придется говорить, а что до остальных: Панюшкин, ленинский связной, умер в изоляторе от голода, а до этого, говорили, тронулся умом. Умер в изоляторе и Салмин, остальные получили сроки по ОСО.

Неожиданными были для меня показания уважаемых мной пролетариев, Зелика Ротштейна и Кондрата. Их не арестовывали, допрашивали только как свидетелей. Оба они в числе прочего, показали, что Ю. был в мастерских чем-то вроде вредителя, оказался

липовым специалистом, срывал все начинания. В этих показаниях я снова узнал слог Курбатова.

Когда меня в дальнейшем выпустили из изолятора, ни тот ни другой подойти ко мне не решились. Через других людей передавали извинения, просили понять, какая была тогда обстановка... Даже сейчас противно вспоминать.

Что еще было: у Курбатова оказалась целая кипа мелких доносов, на клочках бумаги, анонимных и подписанных. «Такого-то числа Ю. варил кашу в мастерских, неизвестно откуда крупа», «Ю. долго шушукался с Рехесом и Паниным», и т.п. А мне-то казалось, что у меня нет недругов среди своего же брата, зеков, и обиды никому от меня вроде не было.

Курбатов как-то не нажимал на меня по поводу показаний Ротштейна и Кондрата, также и по тем мелочным доносам, видимо считал, что для ОСО и так хватит материала.

Вероятно месяц два тянулось это никчемное следствие, а зятем стал я прозябать спокойно в камере изолятора, с каждой неделей теряя силы на голодном пайке.

Жизнь в изоляторе

Начальником нашей внутренней тюрьмы был младший лейтенант Голубев. Спокойное, добродушное лицо. Я его живо вспомнил, увидев портрет Гагарина – поразительное сходство!

Был этот Голубев полуграмотный и предельно тупой. Иногда случались с ним приступы истерического бешенств. Помню, как однажды вытащил он из камеры в коридор двух молодых воровок и с воплями их избивал за какое-то нарушение изоляторного режима.

Зашел он как-то в нашу камеру, один из нас обратился к нему с мелкой просьбой, не помню какой. И в ответ услышал, вполне серьезно: «Вы что, не знаете ваших вождей? Вот к ним и обращайтесь». Имелись в виду двое изоляторных надзирателей.

Обсудивши потом этот вопрос, мы согласились что правильно, на данном этапе именно они и являются нашими вождями.

Их было двое, этих вождей, оба лет по 45. Жили они в комнате при изоляторе, и находились в нем практически бессменно. Судя по всему, оба очень ценили эту спокойную должность, обеспечивающую им броню от фронта. О них все нам было отлично известно. Один из них, Ланда, поворотливый и говорливый белорусский еврей, был до войны директором деревообделочной фабрики где-то под Витебском. Другой, долговязый и морщинистый, потомственный питерский рабочий, Подколизин по фамилии, был вагоновожатым.

При все своем внешнем различии были они в одинаковой степени выдающимися сволочами. Новоприбывших в изолятор они беззастенчиво очищали, снимали новые вещи и давали взамен рвань. Мне с трудом удалось отстоять свою старую овчинную шубу («давай сюда, в камере тепло»), сказал, что буду жаловаться, это помогло.

Мы хорошо знали, что они отстаивали нашу баланду, слипали для нас воду, часть гущи заправляли и ели сами, часть шла на откорм их поросенка. Сейчас вроде даже и смешно, а тогда это было для нас делом жизни или голодной смерти.

То и дело лупили они кого-нибудь из нас по пустяковым поводам, разговаривали о нами только матом. Вот такие были наши изоляторные вожди.

Быт в камере

Было почти невозможно как следует распрямиться, размяться, пройтись по полу, ведь от нар до двери было не более метра, а в ширину камера была метра два с половиной,

минус параша. Вот и сидели мы на нарах целыми днями. Первое время было это довольно болезненно, тем более что задницы отошдали от голодовки. Потом как-то притерпелось. Играли в домино и шахматы, бесконечно, днями, неделями, месяцами. Обе эти игры я с тех пор и видеть не могу.

В трещинах бревенчатых стен гнездились многие тысячи клопов. Когда вечером включали свет, то стены как бы оживали и начинали шевелиться. Это клопы массами спускались к нам вниз. После нескольких недель укусы их уже почти не чувствовались, но все равно было плохо, особенно летом, в жару. В такое время мы спали днем, а ночи проводили за разговорами и убоим появлявшихся в поле зрения клопов. За час-два можно было уничтожить много сотен – мы не раз вели подсчет, ориентируясь по смене часовых и гудкам лесопилки. Изучали мы и клопьи повадки – делать-то ведь нечего! – видели, как они с потолка точно пикируют на нужное место. А если упорно уставиться на ползущего по стене клопа, то он останавливается и падает, спасаясь! Привыкли мы и к клопьиной вони. Больше того, иногда казалось, что она вроде даже разнообразит тяжелый камерный запах.

Тяжело было без табака. Это был хороший пример невозможности принудительного отвыкания от курения. И какой был для всей камеры праздник, если удавалось подобрать бычок по дороге с допроса, или появлялся новый человек в камере, с табаком. Каждая закрутка выкуривалась сообща, со строго определенной порцией затяжек.

Обычные в лагере кресала у всех были отобраны, и тут я впервые увидел, как «закатывают» огонь. Это – блестящее арестантское изобретение, такое же безымянное как и открытие колеса или каменного топора. В самом деле, как добыть огонь без куска стали, без кремня? Оказывается – можно. Из телогрейки выдергивается кусок ваты, и из него скатывается слоями между ладонями цилиндрик немного толще карандаша, длиной поперек ладони. При этом на ладони надо поплевывать, не знаю зачем, но надо. Кладется этот цилиндрик на деревянный пол или доску, берется деревянная крышка параша, или кусок доски, или даже рабочий ботинок. Цилиндрик несколько раз укатывается крышкой поплотнее, затем начинают его быстро катать крышкой взад-вперед, с небольшим нежимом. Через 5-10 секунд появляется запах жженой ваты, затем крышка отбрасывается в сторону, цилиндрик хватают за концы, быстро разрывают пополам – внутри он тлеет!

После длительной практики научился я этому фокусу и сам.

Сокамерники

Встретились мне в изоляторе несколько интересных людей. Попытаюсь их вспомнить. Вот, например, профессор Кремер. Сначала я увидел его отпечаток, потом он и сам попал на несколько дней в нашу камеру. Как-то, в самом начале моей изоляторной жизни, рано утром вывели нашу камеру на прогулку. Во дворе была расчищена круговая дорожка, а снег сгребли на середину, в большой полутораметровый сугроб. Стоял крепкий утренний мороз. И видим мы на этом сугробе четкий отпечаток голого человеческого тела, с раскинутыми ногами и руками. О чем другом могли мы подумать, кроме как о наказании какого-то бедолаги, или о мере воздействия при допросе. Мы ведь хороню понимали возможность как того, так и другого. Но через какое-то время перевели к нам в камеру Кремера, и всё выяснилось. Это он решил закаляться таким манером. Эксперимент чуть не стоил ему жизни. Он перенес воспаление легких, сидя в изоляторе, без врачебной помощи.

Оказался Кремер маленьким, горбоносим и рыжеусым старичком, за 60. Профессор-гуманист, не помню, по какой части. Отец его был немец, мать грузинка. Образование получил в Берлине, еще до первой мировой войны. Преподавал в Грузии и в Москве. Добродушный он был человек, разговорчивый, чудаковатый, совершенно [неразб] ...пальцем в две нерусские фамилии

А Кремер говорил, что ему приходилось в жизни бывать в лучших ресторанах, дома и за рубежом. Но никогда не получал он такого удовольствия от пищи, как здесь. Ведь на кухне он имел выскребки из котлов из-под каши, а что может быть вкуснее? – это мы все отлично понимали.

Оказалось, что Кремер отличный «романист», рассказывал больше Брет-Гарта, причем с необыкновенной точностью и полнотой.

Много «тискал романов» в камере и я, вспоминая прочитанное. Особый успех имели мои рассказы из О.Генри, Лондона, Грина, Дюма, и в первую очередь, конечно же, Конан Дойля.

Удивительно, как обостряется человеческая память, когда голова не занята. Я, например, вспомнил и рассказал 52 наименования. Похоже получилось и у других читающих сокамерников.

Выслушивали мы в камере и множество блатных историй. В следственный изолятор попадали только блатные высшего класса, а также убийцы. Побывал у нас в камере и участник группового изнасилования, («трамвая»), учиненного над женой одного офицера охраны, неосторожно подошедшей в зоне к одному пустовавшему барaku. Что было занятно: после такого случая эта тупая, коренастая женщина продолжала как ни в чем не бывало появляться в зоне. [неразб].

В том числе рассказывалось не раз и о зверских убийствах, причем убийца всегда оказывался как-то по своему прав. Дулись с ними в козла и самодельные карты, одинаково доходили от голода.

Одноделец Кремера, доктор Бем, хоть, по правде, не очень уверен, что правильно помню фамилию, тоже побывал в нашей камере. В изоляторе часто производились перетасовки арестантов – думается мне, это было старание оперотдела придать видимость важности своей деятельности. Это, кстати, чувствовалось все время, понятно было и то, как они друг друга уговаривают в страшной вредности и опасности зеков; и как они нас боятся – тоже было совершенно ясно.

Так о Беме; в довоенной Эстонии считался он одним из лучших детских врачей. Во всяком случае, лечил внуков президента. Был он очень спокойный, добрый и незлобивый человек, европейски образованный, и, я бы сказал – истинный джентльмен. Много путешествовал, видел и знал. Запомнился его рассказ о финской архитектуре, об Италии, Франции.

Но конечно больше всего остался в памяти доктор Видыньш, просидевший со мной в камере несколько месяцев. Рижанин, лет 35-38, с черной пиратской повязкой на потерянном в детстве глазу. Маленький, тощий, болезненный, нервный – полная противоположность своим рослым и спокойным землякам. Сиделось ему в изоляторе гораздо тяжелее прочих, так как был он морфинистом. Работая в лагерной санчасти, он кое-как умудрялся доставать наркотики, но в камере очень мучился.

Мне думается, что Видыньш был самым образованным из всех людей, что мне встречались в жизни, и с самым скверным характером из моих друзей.

Был он взят оперотделом за то, что работая в санчасти во время большого голода, занялся исследованием процесса голодного умирания. Накопил огромный материал, занялся его обработкой, пока кто-то не донес. О своей судьбе он совершенно не задумывался, но очень сокрушался, что пропали уникальные данные.

Я слышал о Видыньше еще до изолятора, от его коллег по санчасти. Он считался первоклассным терапевтом, но отмечали и его отвратительный нрав.

Второй его специальностью была римская классика, и в этой области он имел ряд печатных трудов. Рассказывал он, например, о своей, опубликованной в дальнейшем, дипломной работе в медицинском институте. По скульптурному портрету императора Калигулы он установил признаки перенесенной им в детстве болезни, следствием которой было характерное для нее психическое заболевание. Видыньш считал, что все странные и жестокие поступки этого императора укладываются в симптомы того психоза.

Рассказчик он был первоклассный. Помню его беседу о жизни Калигулы, шаг за шагом, с детства. Готовый к печати исторический очерк. Такими же прекрасными, законченными очерками были его другие рассказы, продолжавшиеся по дню, а иногда и по два или три. Вспоминаю – «Как одевались римляне», «Как римляне ели», «Развлечения римлян», «жизнь Нерона». Все это очень отличалось от того, что проходят в школе, или что можно прочесть в популярных книгах по истории, так как часто подробности были самые не для печати, рассказывал он не часто, когда его немного отпускала тоска по морфию.

Его третьей специальностью была французская литература. Уже расставшись с Видыньшем я узнал, что в этой области у него было имя, что до войны он вел отдел французской литературы в ведущем рижском журнале, что издал ряд переводов. Слушали мы его отличные рассказы-очерки и такие, например, как «Гюго и Сент-Бев», «Мериме», «Верлен и Рембо», «Флобер». Выше моего понимания, как ему удавалось экспромтом, в камере, да еще на чужом языке. Знал он и греческий, свободно владел также немецким и прилично – английским. Иногда рассказывал, и тоже очень интересно, и что-нибудь из медицины.

Мы с ним очень подружились, расстались с грустью. Его судьба мне неизвестна.

В хорошие свои минуты он звал меня «Ко-Юрий» (его звали Юрий Иванович), и придавал мистическое значение тому, что имена наших ровесниц-дочерей начинались на "Л"; у него Лейла, у меня Лариса. Считал это признаком, что мы оба выживем.

Но характер у него был... Вот он проснулся утра, каменное лицо, настроение как с перепоя. С отвращением проглатывает утреннюю баланду. молчит. Если есть чего – закурит. Потом выберет себе жертву среди сокамерников и обрушивается на нее. Чаще всего перепадало мне. С убийственным сарказмом, последовательно доказывает он мне, что я ничтожество и нуль, имею наглость вообразить себя культурной личностью, типичный для России недоучка и дилетант, и т.д. Все это я выслушиваю с кротостью. Наконец заряд дурного построения из него выходит. И говорит он мне с необычайной сердечностью – «простите меня, друг мой. Мы оба находимся в тягчайшей беде. Будем же взаимно добры».

Как-то спросил я у него, верит ли он в Бога. Ответил он не сразу. Потом сказал, что да, верит, и эта вера появилась у него, когда он ознакомился с нервной системой человека. В ее устройстве он увидел наличие творческого разума, создавшего ее.

Вот такой был доктор Юрий Иванович Видыньш.

А как-то приводят к нам в камеру троих волжских немцев, баптистов. История их была довольно примечательная. Когда в первые дни войны эвакуировали население Республики Немцев Поволжья, то женщин с детьми вывезли за Урал – я их не раз встречал в Сибири – а мужчин интернировали в трудовых лагерях. Один такой лагерь находился в Кировской области, недалеко от Вятлага, все эти немецкие лагеря не отличались от обычных арестантских. Те же зоны за колючкой, те же вышки с часовыми, общие работы, режим, доходиловка. Но немцам было сохранено профсоюзное членство, партийные билеты, а у кого были то и ордена. Сидел в таком лагере и первый секретарь республики, и какой-то герой советского союза. Были у них и партийные, и профсоюзные собрания. Процветало доноительство, причем часто – внутрисемейное: сын на отца, брат на брата. То и дело интернированные, после краткого разбирательств, становились через ОСО обычными зеками. От этого они, пожалуй, ничего и не теряли, говорили что так оно и лучше, и спокойней.

Попавшие к нам трое немцев, простые, не очень грамотные люди, превратились в зеков за совместные моления и чтение Библии. Ставши лагерниками, они попытались продолжить это занятие, и ими заинтересовался оперотдел, завел следствие. Приняли они это как крест от бога, не роптали, потихоньку пели в камере свои псалмы.

Но не вызывали они симпатии из-за ханжества своего, нетерпимости, самодовольства и вечных попыток назидания. Да и своей темнотой; все они свято верили в сны, что-то там вычитывали из Апокалипсиса. Но надо признать, что держались они несокрушимо.

Надо заодно припомнить и то, что в зоне рассказывали о другом немецком лагере. Был в Кировского области, и тоже недалеко от Вятлага, также и лагерь немецких военнопленных. Для его обслуживания иногда посылали от нас расконвоированных зеков, бытовиков, и они рассказывали занятные вещи. О том, как нагло и вызывающе держатся военнопленные, как они и в 1943, и даже в 1944 годах ничуть не сомневались в победе Гитлера. И главное – о том, как их кормили. В соответствии с международными нормами, так объясняли наши военные, пленные должны получать полный воинский паек. Вот и выдавали им белый хлеб, масло, мясо, сахар, сгущенку, рис, и наши расконвоированные видели это, с потрясением, собственными глазами. А немцы иногда устраивали бунты из-за питания, швырялись тарелками. Как известно, в отношении наших пленных немцы не считались ни с какими нормами. Получается, что для Сталина наши зеки были дерьмом даже по сравнению с фашистами.

Впрочем, возможно, что это был какой-то привилегированный лагерь, так как после войны приходилось слышать и о не таких роскошных лагерях, но и там питание было вполне достаточным, не зековским.

Был и еще один занятный сокамерник. Фамилию не помню, украинская. Кубанец, бывший казачий офицер, седоусый крепыш. В Вятлаге он был начальником конной базы. Он сидел начиная с 1920 года. Когда после разгрома белых решил остаться на родине, около своей большой семьи, получил заверения, что претензий к нему нет. За это время его 3 или 4 раза отпускали на короткое время, затем снова сажали. Особенно было ему обидно за арест в 1928 г., после освобождения в 1927 г. по амнистии, объявленной для всех без исключения белых. Дурак, говорил он, поверил, а мог запросто скрыться.

Мне и раньше было известно, что эта амнистия кончилась посадкой почти всех освобожденных, да и задумывалась, по-видимому, как приманка, чтобы выманить уцелевших. Бывших белых было полно в киевской тюрьме в 1929 г., когда и мне пришлось там побывать.

Этот бывший офицер был большим специалистом по лошадям, в заключении всегда работал на конбазах, из-за этого и выжил, и отлично сохранился. Остались у него и кавалерийская осанка, и офицерская выправка. Глядя на него вспоминались мне белые офицеры, которых видел мальчишкой в Киеве, в гражданскую войну. Почему на него завели лагерное дело – не помню.

Рассказчик он был необыкновенный. Вероятно, был бы неocenимой находкой для историка Гражданской войны, так как точно называл феноменально много дат, имен и событий. Не помню теперь его рассказов о гражданской войне, но осталось в памяти описание праздника «Саксей-Ваксей» в 1919 году, в Баку. Поразительная история, нигде не читал подобной.

В Вятлаге жилось ему хорошо, имел большой авторитет у начальства. Ведь лошади тогда были основным транспортом в лагерях.

Пришел он в изолятор упитанным, хорошо одетым. Просидел несколько месяцев, изголодался. Когда выпустили, то на конбазе – а его там очень уважали – сверили ему овсяной каши. Не удержался он, съел треть ведра и умер от заворота кишок.

Продолжаю сидеть

Лето и осень 1943 года Курбатов меня не вызывал. Но в начале зимы вдруг затребовал меня и предложил заново подписать протоколы моих допросов. У меня не было причин отказываться, так как в моих показаниях не было ни признаний, ни оговоров кого-либо, ни опасных промашек, и я подписал. Понятно было, что дело возвращено из ОСО, видимо

ухе очень топорно было оно сляпано, и оперотделу пришлось его причесывать. Это потом подтвердилось.

При этой встрече пожаловался я Курбатову, что читать нечего, и что же – на другой день получаю в камеру книгу! Как потом выяснилось – давно посланную мне женой. Книга была по корригированию зубчатых зацеплений, чистая теория, почти сплошь формулы. Простудировал я этот труд, разобрался в неизвестном мне математическом аппарате, нашел ошибки, обнаружил два-три авторских передергивания. Потом мы искурили эту книгу, и я ее начисто забыл.

Подошла так и зима 1943-44 гг. Был я уже старожилом в камере, всех пересидел. Стал старостой, и меня слушались. С общего согласия, пресек я разговоры о еде; опасное занятие для психики голодного человека. Упорядочил уборку, завел регламент на игры. Мелочи эти непропорционально разрастаются в этих зажатых условиях, и управлять ими очень важно. Вот так и жили мы.

Иногда делались странные вещи; кто-нибудь голодает 2-3 дня, собирая пищу. Потом наедается досыта, а остальные смотрят, глотая слюну. Другой оставляет баланду в теплом месте, чтобы прокисла, и съедает с наслаждением. Иногда так делал я, видно было нужно организму.

Зимой открывается однажды дверь, и в камеру заводят не кого-нибудь иного, а Сучкова. Сначала я опешил, а потом произнес перед сокамерниками речь, в которой обрисовал всю подлость этого человека. Единогласно загнали его под нары, где он и прожил несколько дней, безропотно выслушивая издевательства. Затем нам это надоело, мы его амнистировали и перевели наверх. Стал и я с ним разговаривать. В конце концов подлец и подлец, ну и что дальше? Мало ли их вокруг?

Пробыл он у нас неделю или две. Мне было с ним интересно, что тут говорить. Например, зашла у нас с ним речь о продолжительности дня у нас, а знали мы только широту Кирова. Писать не на чем и нечем. Вот и вычислили мы в угле необходимые тригонометрические величины, посчитали максимальную и минимальную продолжительность дня, и уже после изолятора сверили. Получилось довольно близко.

Зачем его подсаживали ко мне – я так и не понял, кажется, и он этого не знал.

Снова Сучков

Наступил февраль 1944 года. Я был уже почти полным доходягой. Физически всё больше деградировал, и хорошо понимал, что надолго меня не хватит. И как-то не особенно горевал по этому поводу. Перспектива смерти не беспокоила. С психикой было неладно, и в этом я хорошо отдавал себе отчет. Воли к жизни не было совершенно, в голове было только одно: яркие картины великолепной еды. Голос у меня стал слабым и пискливым.

И вот вызывают меня в контору изолятора. Сидят там Курбатов – и Сучков. Ухмыляется Курбатов – «ну, Ю., как у вас отношения с Сучковым?». Меня еще хватило высказать что-то резкое. «Ну а работать вместе согласны?». Смотря что делать, отвечаю. «Техническая работа, по специальности». Согласен, говорю. И впервые за год что-то у меня засветило.

События немедленно завертелись. Сразу же помещают нас вдвоем в отдельную камеру. Ланда – не узнать! – суетится, тащит стол, чертежную доску.

Рассказывает мне Сучков: подготовил он техническое предложение, очень заинтересовавшее лагерную администрацию. Вызывали его к главному инженеру лагеря, где он доложил свою идею. Поручили ему разработать проект, он принял это задание, но заявил, что сможет это выполнить только совместно со мной. Были даны указания Курбатову, (за которым мы числились) создать нам условия для работы. Сучков при этом

не упустил выговорить усиленное питание. И вот вопрос ко мне: согласен ли я на эту работу.

Я ответил, что конечно понимаю, это шанс спастись, и работать вместе согласен. Но несколько не меняю отношение к нему, он вел себя подло, это никуда не денется, и я об этом не забуду. Однако работа есть работа, и пока от длится – не станем ни о чем вспоминать.

Сучков сказал, что на большее он и не рассчитывал, считает, что передо мной виноват. Надеется загладить это, благодарит за согласие на совместную работу. Затем начал рассказывать о своей идее. Она была столь же проста, сколь и нелепа технически, но блестяще рассчитана Сучковым на уровень и амбиции лагерного руководства. Состояла она вот в чем: при переработке лесоматериала на лесных складах («биржах») часть хлыстов раскряжевывается на отрезки от 1 до 2 метров, для шпал, рудничных стоек, дров.

Производится это очень просто, на балансирных циркулярных пилах.

Работает 2-3 человека, производительность большая, и эта операция никогда не бывает узким местом. А Сучков предложил, создать для этой цели вышину с автоматической подачей хлыстов и уборкой отрезков по конвейерам, с несколькими балансирными пилами, одновременно и автоматически разделяющими хлыст. Хлыстом, кстати, называется поваленное и очищенное от сучков дерево.

Машина эта получалась величиной с деревенскую избу, и – будь построена – оказалась бы никому не нужной нелепицей. Но имела бы эффектный вид, этакое ревущее чудовище. Идея эта произвела на лагерное командование большое впечатление, ведь такой машиной можно бы, пожалуй, и прославиться. Сучков здесь безошибочно попал в точку.

Начинаем работу

Я понимал, почему Сучков привлек меня к этому проекту. Было это характерное для него, продуманное и многоплановое решение. Начать с того, что он не был конструктором и попросту не смог бы обойтись без более или менее опытного разработчика. А передать идею в КБ мастерских он не хотел, она б от него ушла, его бы оттерли. А меня он знал, мог быть уверен что не стану действовать за его спиной. Не исключая я и того, что он и выручить меня хотел, включив в проект.

Сложным и путанный это был человек. Я согласился работать, но отлично понимал: появится повод – и он снова продаст. Но какой другой у меня шанс на спасение? Доставили нам чертежную бумагу, готовальню, даже справочники. Обсудили мы эскизы Сучкова, без спора принял он мои замечания, и работа пошла. С первого же дня начали нам таскать полный ИТР-овский паек со всеми добавками, дали и табаку. Сводили в баню, выдали новое белье. На прогулку выпускали на полтора-два часа, на opravку – в любое время, камера была не заперта. Кто сидел знает, какое это великое дело, ходить в уборную по потребности, а не по графику.

От обилия пищи немедленно начались у нас страшные отеки. Ноги от бедер до пяток стали у обоих как бревна, кожа на них натянулась и лоснилась. Трудно их было согнуть, а согнувши – разогнуть. Когда появился табак, то оказалось, что заклеить сигарку сложно, слюна потеряла клейкость.

Работать с Сучковым было легко, понимали мы друг друга с полуслова. Он готов был трудиться круглосуточно, но я настоял на регламенте: 10 часов в день, минимальная зарядка по утрам, длительная прогулка перед обедом.

Вечера заполнялись поочередными рассказами. Оказалось, что и Сучков помнит массу из прочитанного.

Время полетело быстро. Работали мы очень продуктивно. В «шарашках» такая эффективность называлась «арестантским отчаянием», и не раз давала поразительные

результаты, напр. запроектированный и построенный в рекордные сроки бомбардировщик «сотка», в туполевской шарашке.

Чертежи делал я, Сучков – расчеты и текстовую часть проекта. Почти ежедневно бывал у нас Курбатов, заботливый, веселый и добродушный. «Ну как дела, ребята? Как кормят?».

За две недели был у нас готов полный эскизный проект на 14 листах, с техническими и экономическими расчетами и пояснительной запиской. В нормальных условиях в проектной организации на это ушло бы месяца два.

Сдали мы работу и были извещены, что проект передан на отзыв «официальному оппоненту», хорошо нам знакомому Дику. Больше двух недель мы ждали результатов.

Защита

И вот вызывают нас для доклада в управление лагеря. Март, слепящее солнце, сверкающий снег. На шикарных санях, запряженных вороным оперотдельским жеребцом, доставляют двух доходяг в оперотдел.

До доклада оставалось время, и нам вручают по толстой пачке писем, год копившихся в оперотделе. Сучков открывает первое попавшееся – и начинает горько плакать. По отрощенной в изоляторе длинной бороде стекают слезы. Оказывается пишет ему жена о смерти матери его.

А нам через 15 минут докладывать. Выступления отработаны, прорепетированы, роли распределены, говорить ему первому. И как-никак – ведь вопрос жизни и смерти.

И тут Сучков взял себя в горсть. Вытер слезы и сказал мне, что сумеет выступить. Попутно надо сказать, что сообщение оказалось неверным, мать была жива и прожила еще много лет.

По широкой лестнице с ковром дорожкой ведут нас в большой кабинет главного инженера лагеря. Народу собралось порядочно, все офицеры НКВД, и один зек: Дик.

Сучков в отличном стиле докладывает идею машины, ее схему, технико-экономическую сторону. Затем я описываю конструкцию, привожу характеристики, даю соображения по изготовлению машины в условиях лагеря. Слушают нас благосклонно, задают много вопросов.

А потом выступает оппонент, Дик, и мне до сих пор обидно вспомнить его недомыслие. Очень грамотно разгромил он наш проект в пух и прах. Сработала, видимо, немецкая пунктуальность; удивительным образом не дошло до него, что весь смысл этой липовой идеи только в том, что двое его товарищей пытаются выкарабкаться из беды. А ведь умный человек был, и порядочный.

Повесили мы с Сучковым носы и приготовились к возврату на изоляторный паек. Но к нашему удивлению главный инженер лагеря даже не дал нам слова для ответа Дику, а заявил, что идея – отличная, замечания Дика – по частностям, разработку надо продолжить, не пойдет в Вятлаге то пригодится в другом месте. Мы снова подняли носы, а Сучков, воспользовавшись моментом, выговорил для нас дополнительные хлебный паек, по 300 грамм. Это было поразительно, если учесть, что было начало 1944 года.

Больница

Вернули нас в изолятор, и тут же появляется Курбатов. Вот что, говорит, ребята, переведем вас в больницу, отдохнете, там и работу продолжать будете. И тут мы с Сучковым, не сговариваясь, в один голос попросили оставить нас в камере изолятора, нам так лучше.

И сейчас удивительно это вспоминать – до какой степени мы запсиховались за год отсидки. Курбатов и тот это понял, ухмыльнулся и ушел. Больше мы его не видели.

В тот же день нас перевели в большой больничный барак для доходяг, помню, как выходя из дверей изолятора, я от слабости споткнулся и перешел порог на четвереньках. Ланда по привычке меня за это отmaterил.

Заняли мы в стационаре места на верхних нарах и стали работать за длинным обеденным столом. Темпы, конечно, значительно сбавили. Вижу и сейчас: мы с Сучковым, в одном белье, серые, отечные, склонились над заваленным чертежами столом. А за нами наблюдают 40 или 50 пар глаз остальных доходяг. Ведь делать-то им больше нечего. В завтрак, обед и ужин эти глаза – ненавидящие, так как вместо больничных кошачьих порций нам приносят ИТР-овский паек.

Приобщаемся к лагерной жизни

По истечении года лагерь, как оказалось, стал жить немного сытнее, и вроде даже повеселел. Доходяг стало немного меньше. Левинсона куда-то перевели. Мне пришлось узнать о нем в Москве в 1956 г. от его сестры, Евы Соломоновны, ныне покойной, он уже не работал в органах, был на какой-то маленькой должности в гражданской организации.

В Вятлаг на место Левинсона был назначен полковник Кухтиков, по общим отзывам деловой и справедливый человек. Его после перевели на Воркуту, тоже начальником лагеря. О нем хорошо говорил Кунович, отбывавший свой дальнейший срок на Воркуте. По распоряжению Кухтикова, вскоре после нашего с Сучковым «освобождения», вывели из изолятора и большинство остальных, и изолятор почти опустел. В деятельность оперотдела Кухтиков, впрочем, отнюдь не вмешивался.

Зашел я и в бывший свой ИТР-овский барак, ведь из больницы можно было беспрепятственно выходить в зону. Окружили меня, трясли руку, совали кто табак, кто сахар, кто хлеб. По глазам старых своих знакомых понял, на что стал похож. Сунулись с рукопожатиями и некоторые из тех, что давали скверные показания. Приходилось тут убирать руку за спину, и помню, какое это сделало впечатление на остальных.

Проявили большое сочувствие ко мне и бывавшие в зоне знакомые из вольнонаемных. От них я узнал, какая страшная атмосфера была создана в лагере вокруг нашего дела. Как же – подготовка восстания! Никто этому не верил, но и вольнонаемные, также, как и зеки, были запуганы массовыми вызовами в оперотдел.

Технорук Голубков

К маю мы с Сучковым закончили технический проект машины и сдали его главному инженеру, которым переслал его в ГУЛАГ. Из больницы перебрались в барак. Были мы еще достаточно слабы, и имели от санчасти освобождение от работы. Впрочем ИТР-овский паек нам оставили, продолжали мы получать и дополнительный хлеб.

Но оставаться не у дел нам долго не пришлось. Вскоре вызвал нас технорук лагпункта и поручил что-то для него начертить.

Скорее даже попросил. Мы догадывались по многим признакам, что в результате внимания руководства к нашей машине стали мы даже, в некотором роде, фигурами в зоне.

Сделали мы техноруку, что он просил – Голубков была его фамилия – и стал он нас вызывать часто, то снова что-нибудь нарисовать, то посоветоваться по технике; он не имел технического образования, опыта тоже. А от него зависело в зоне многое. Вот мы и решили как следует его «освоить».

Когда вызвал он нас следующий раз, то после беседы положили мы ему на стол схему какого-то военного механизма, уж не помню, в чем там было дело, и сказали, что вот, оформили ему то, о чем он прошлый раз говорил.

Смотрит он и читает: «предложение технорука А. Голубкова». На лице проходит у него смена выражения; непонимание, недоумение, обалдение и наконец широкая улыбка. Затем он произносит «гы-гы-гы!». Дошло! А он схему в стол, и к нам: «ребята, там рыбу привезли, может вам выписать?»

Так и пошло, каждый раз мы приносили схемку нового оружия, вычитанную в довоенных научно-популярных журналах, оформленную на имя А. Голубкова, и уходили с записками то на табак, то на новые телогрейки и прочие блага.

В те времена ответ на подобные предложения приходил месяца через три. А кто в лагере загадывает на такой срок.

Встреча с однодельцами

После того, как Кухтиков распустил изолятор, мне пришлось встретиться с теми из однодельцев, что выжили и что еще не были куда-нибудь этапированы. Приятно было увидеть Борю Рехеса, отощавшего и слабого, но по-прежнему горластого и неунывающего. Не знаю о его дальнейшей лагерной судьбе, но в 1956 году слышал, что он благополучен, живет где-то в Приволжье.

Кунович после изолятора устроился в оркестр, быстро отъелся и даже округлился. Его тоже было приятно увидеть живым и здоровым. Вскоре за тем его этапировали на Воркуту.

Тягостной и противной была встреча с Паниным. Он полез с протянутой рукой, и очень удивился, что я ее не принял. «Как, ты разве не знаешь, что со мной выделывали?» – это в объяснение своих подлых показаний.

А я точно знал, что никакого специального давления на него не оказывали. Сидел в изоляторе наравне с другими, в кандей не попадал, пытаем или бит не был. Но они с Сучковым выделались поганой болтовней на следствии, а также оговорами однодельцев.

Поэтому и получили по 5 лет, в то время как прочие, в том числе Рехес, Кунович и я – по 8 лет.

А по всему делу единственный реальный материал, подготовка побега, был именно у них, Панина и Сучкова.

О дальнейшей судьбе Панина мне точно не известно. Однако в воспоминаниях Солженицына, отрывки из которых как-то попались мне, есть рассказ об этапе вместе с Паниным. Этим ли? Также в солженицынском "Круге первом" выведен один инженер, точный Панин и внешне, и по манере.

После 1956 г. жил Панин в Москве, по словам Сучкова.

Но вот как-то, в 70-х годах, включил я «Немецкую волну». Передавали выступления эмигрантов из СССР, и среди них – Дмитрий Панина. В числе прочих, довольно неинтересных высказывании он упомянул о том, что пишет книгу о лагерях, а псевдонимом взял фамилию, под которой его вывел Солженицын в «Круге первом».

Совпадение, или это был и в самом деле мой лагерный одноделец?

Дрожжевой завод

Среди работавших в лагере эвакуированных киевлян были две сестры, Лиза и Римма Рабиновичи, молодые инженеры с Дарницкого химкомбината. Мы, т.-е. наша компания ИТР-мастерских, водили с ними компанию. Младшая, Римма, была красивая, глупая и добродушная. С кем-то из зековской интеллигенции была она довольно близко дружна. А Лиза, старшая, была маленькая, тощая и даже по сниженным лагерным меркам некрасивая – но умница, добрая, очень веселая и шумная. Держалась уверенно, не боялась ни зеков, ни лагерного начальства. Одно время заведовала она швейным цехом. Швей – блатные ее

обожали. Однажды она использовала свои возможности чтобы, нахально изготовить шикарные спецовки Рехесу, Линдбергу и мне, своим друзьям.

Когда Борю и меня выпустили, она загорелась как-нибудь нам помочь. А как раз весной 1944 г. ей поручили освоить вновь построенный за зоной заводик пищевых дрожжей на базе опилок. В то время возлагали на эти дрожжи большие надежды – белковая пища! – но нигде производство их не пошло. В противоположность спиртовым дрожжам культура эта оказалась капризной и неустойчивой. Не пошло в то в дальнейшем и в Вятлаге.

Лиза была толковым химиком и не строила на этот счет иллюзий, но по приказу начальства приняла этот завод. Взяла она себе на работу Рехеса, Сучкова и меня. Сказала при этом, что дело всё равнодохлое, но проживем спокойно и подкормимся.

Так оно и поучилось. Не помню, какую синекуру получили Рехес и Сучков, ну а я стал лаборантом, начал учиться простейшим производственным анализам. Время от времени перепадали нам то сахар, то мука из Лизиних исследовательских фондов.

Прошли так май, июнь, июль. Силы наши стали восстанавливаться, но крайне медленно. Помню, как я с трудом ходил, волоча ноги как заправский доходяга. Да и психика... Смешно и стыдно вспоминать об этих заносах, об унижениях на кухне ради лишнего черпаки. Свой котелок я проградуировал лабораторной мензуркой, и какая бывала трагедия если оказывалось, что недодали 30 грамм.

Сучков снова действует

Как-то в мае вызывает нас с Сучковым вольнонаемным зав. питанием лагпункта, веселый еврей, и просит уточнить насчет наших дополнительных 300 грамм хлеба, так как в распоряжении не был указан срок их выдачи. Я приуныл, решил, что уже – всё, ведь интерес к нам пошел уж на спад. Но через несколько дней Сучков показывает мне заявление на имя нашей начальницы, Лизы, о просьбой о ходатайстве перед нач. лагеря о продлении нам дополнительного пайка ввиду важности выполняемой нами работы. На заявлении есть уже и надпись Лизы с просьбой удовлетворить, а сверху, крупно, синим карандашом, «продлить на 3 месяца. Кухтиков».

Идем к зав. питанием, Сучков о каменной физиономией вручает. Тот удовлетворен, всё в порядке, вышли мы, и говорит мне Сучков, что обе визы он изобразил собственноручно. Я обмер. Ты что, с ума сошел, ведь откроют – катастрофа! А он мне – я так и знал, что ты воспротивишься, потому и не сказал заранее. Но ведь это же элементарно; пойми, кто сунется к Кухтикову проверять такую мелочь?

А действительно, сошло. А Сучков, войдя во вкус, принялся мастерски подделывать записки на получение табака. В лагере табак – валюта, и на таких записках полагалось иметь пять подписей разных начальников. Оправдывалась истина – чем жестче контроль, тем легче мошенничать, все выходило у Сучкова отлично. Помогала и его полная невозмутимость при реализации этой липы.

Великая вещь для лагеря – умение блефовать. Именно этому таланту Сучков обязан был благополучию в лагере. В то время как мои последующие удачи объяснялись чистейшим везением.

Опять изолятор

Понемногу все шло к лучшему, стало вроде и веселее жить. И с женой я списался. Стояло великолепное лето 1944 г. Но вот однажды, в июле, является за мной на работу оперативник – и ведет меня снова в изолятор.

Шел я за ним ничего не видя, как в дурном сне. Снова знакомый забор, Ланда встречает. Изолятор совершенно пустой. Сняли с меня ремень и закрыли в камере, одного.

Никто ничего мне не говорит. Ну что ж, думаю, видно всё начинается «по новой», как говорили в лагере. Теперь уж я долго не протяну, это обеспечено. Так чего откладывать? И за ночь я решил, что надо кончать, пока есть силы, прикинул высоту решетки, наметил, как отодрать полосу от гимнастерки. Ночью, я знал, надзиратели спят и можно будет без помех повеситься. Припоминаю свое состояние: я это, без сомнения, сделал бы.

Но вот утром открывается дверь и пускают ко мне в камеру нового человека. Здоровенный татарин, глаза как щелки, рябое лицо, тупое и невыразительное как деревянный чурбан. По-русски говорит еле-еле, и трудом разбираю что он, оказывается, конюх, и опер забрал его за какие-то комбинации с овсом. Опрашивает, а меня за что; а я сам не знаю...

Посмотрел он на меня своими щелочками. И начинает расспрашивать – а баба у тебя есть, дети есть? Есть, отвечаю. Ну, говорит, ничего, Аллах все видит, дома будешь, баба видишь, дочка видишь... Он понял, что со мной, и нашел нужные слова в нужный момент, для меня, совершенно чужого ему человека.

Его к вечеру увели, но я уже не примерялся к решетке. Вот даже не помню, как его звали, но твердо знаю, что этот человек меня спас.

Просидел я так дня три, один. Но все же – в чем дело? Наконец являются ко мне в камеру двое офицеров-оперативников. И ни о чем меня не спрашивают, а начинают читать мораль! «Эх, Ю., затеяли такую глупость... а имеете достижения, хотя бы ваш миномет! А сами чем занимаетесь?..». Но в чем дело, спрашиваю. Ничего не говорят, только – «эх, Ю., зря вы это...» – и ушли.

Остался я в полном обалдении. Понял только о миномете. Года за два до этого подал я через лагерное начальство предложение – «Трехствольный поворотный миномет». Оно куда-то ушло, ответа не было. Ни на какой успех я и не рассчитывал, это была, так сказать, просто игра ума, так как минометов я сроду и в глаза не видел, и ничего в них не смыслил. Оказывается, начальство об этом помнило, видимо, потому что само наверняка в минометах не разбиралось.

Просидел я так неделю. Выпустили без объяснений, и был я встречен Лизой как родной.

Позже я узнал, в чем дело, не помню уж, каким образом. На дрожзаводе старшим лаборантом был один зек. Фамилии его не помню, а внешность и манера – типичный диккенсовский Урия Гипп. Украинец, был он опытным химиком с сахарного завода. Когда я появился в лаборатории, он испугался за свою должность, решив что я его выживу. Тем более, что понимал, что Лиза его не терпит. Вот он и донес в оперотдел, что Ю. готовится к побегу... Меня для верности заперли, но как видно дело не получило ходу.

Уже будучи в Кунгуре, узнал я из письма оставшегося в Вятлаге Сучкова, что этот Урия Гипп умер от туберкулеза.

Чтобы больше не возвращаться к Сучкову надо уж сразу рас сказать о наших о нем контактах в Москве, после моего возвращения домой и реабилитации. Вроде ничего особенно и не было, но повеяло на меня запахом тюремной камеры, а вся эта история показалась мне характерной для Сучкова, а может и для времени. Впрочем лучше просто рассказать, в чем она заключалась. В 1956 г. звонит мне домой незнакомый человек, представляется начальником отдела в СКБ, замдиректора которого является Сучков. Говорит, что от Вл. Ник. слышал весьма лестные слова о моих деловых качествах, и не пожелал ли бы я перейти к ним на работу.

Что Сучков в Москве, для меня была новость. Тогдашнюю свою работу я не собирался бросать, но почувствовал – это некий очередной ход Сучкова в его стиле, по кривой, и конечно мне стало любопытно, в чем дело.

Поехал. Организация оказалась очень даже закрытой. Разговор с этим нач. отдела был предварительным, и у меня создалось неопределенное впечатление, что и нанимать-то меня никто особенно не стремился. Попросили меня поговорить лично с Сучковым, дали его домашний телефон.

Звоню. Говорит Сучков, что – благодарен за звонок, и не зашел ли бы я к нему.

Где ж тут отказаться? Поехал. Знакомит с женой, это вторая, с первой сразу после лагеря развелся. Показывает двоих ребят, от второй жены. Узнаю, что в Москве он с 1948 года, т.-е. почти сразу после окончания срока, также как и Панин, о котором Сучков говорит крайне неохотно. Ни Сибири им обоим не было, ни «минусов» (ограничения проживания).

Кстати, 1948 год был годом новых, очень усиленных посадок, а также удаления (в лучшем случае) из больших городов бывших з/к по политическим статьям.

Но до чего подался Сучков и помрачнел.

Что ж, пьем чай. Появляется, на огонек, и знакомый, явно выпадающий из стиля и круга Сучкова, как никак, коренного московского интеллигента, по боковой линии потомка Римского-Корсакова. Подчеркнуто не обращает на меня внимания этот друг дома. Или я совсем уж заболел подозрительностью? Да нет, без ошибки; не зря ведь стойко перевидал ихнего брата.

Он скоро уходит. А затем всё стало на места. Спрашиваю Сучкова, не слышал ли о капитане Курбатове? Не подумав, ответил: да, слышал, Курбатов был убит после войны в Молавии, при ловле бандеровцев.

Вот, говорю, и бандеровцы на что-то пригодились, убили такого мерзавца.

И тут взрывается жена Сучкова, Анна Фирсовна, на тему того, мол, Курбатов везде выполнял свой долг, тоже и когда в Вятлаге служил.

Сучков мрачно молчит. А кстати, и ему уж никак не полагалось бы знать о судьбах кадровых работников КГБ...

О работе речи как-то и не возникло. Ясно было, что ему велено было на меня посмотреть, очевидно и показать, кому надо. После этой встречи у него пропал ко мне интерес. Мне случалось ему звонить, посоветоваться по разным химическим делам; он вскоре стал заметной фигурой в химии, зам. директора по научной части одного НИИ. Отвечал он мне каждый раз сквозь зубы, комкая разговор.

Больше меня в этом плане не беспокоили. А иногда думается мне: не исключено, что Сучков так повел дело, чтобы мне не был причинен вред.

Чем же кончилось с Сучковым? Вот лежит передо мной некролог из «Вечерней Москвы» от 4 марта 1986 года; институт и министерство с прискорбием сообщают о смерти старейшего работника, кавалера ордена Ленина и т.д. Что ж, земля ему пером, он тоже помучался.

Этап

После лагерного дела зека, как правило, переводили в другой лагерь, вот и я ждал своей очереди. Да мне и самому хотелось уехать из Вятлага. Хорошего здесь не предвиделось, поскольку я уже был в поле зрения оперотдела.

В августе вызвали меня на этап. Это всегда происходит драматически. Нарядчик бегаёт по зоне, орет, ищет нужного зека. Сборы происходят в страшной спешке. А потом нужно часами, а то и сутками, ожидать отправки на первый (комендантский) лагпункт, где комплектуется партия на отправку.

На первом прожил я недели две. Нашел много знакомых, побывал и в старых мастерских. Техноруком был там Дик, быстро превративший грязные сараи в небольшой завод, чистенький и с приличным уровнем.

Кунович дал обо мне знать на первый своей старой приятельнице, польской еврейке, лучшей портнихе лагеря и доброй женщине, и благодаря ей я это время не голодал.

Сидел я эти дни «на чемоданах», а точнее – на большом мешке, набитом черт знает чем, какими-то тряпками и ошметками. Ведь в заключении ценится каждый обрывок, авось пригодится. И это выглядит у зеков, как какой-то психоз. А у меня, к тому же, психика в то время и действительно была явно набекрень.

Подошел день этапа. Вместе со мной увозили 5 или 6 человек, и среди них оказался немного мне знакомый латыш, врач-гинеколог по фамилии Чамманс. Рослый красавец арийского типа, элегантный и воспитанный европеец, одетый в пальто на кенгуровом меху. Очень уж он контрастировал с остальными этапниками, невымытыми доходягами, включая и меня. Его этапировали из-за какой-то ситуации с вольнонаемной дамой. А по масштабу его крах был несравнимо больше моего, так как жил он вне зоны, ничем не был ограничен, полностью на вольном положении. Но воспринимал он свою катастрофу легко и с юмором. Несколько месяцев его общество очень скрашивало мою жизнь.

Посадили нас в арестантский вагон на полустанке первого лагпункта, и мы простились с Вятлагом.